

# СТИВЕН КИНГ

The book cover features a dark, textured background with a circular, stone-like pattern. A rope is visible on the left side, and a small, glowing blue orb is positioned at the bottom center. The title 'СТИВЕН КИНГ' is written in large, yellow, stylized letters at the top. The author's name 'Долорес Клейборн' is written in white, serif font in the center.

Долорес  
Клейборн

Стивен Кинг  
**Долорес Клейборн**

«АСТ»

1992

**Кинг С.**

Долорес Клейборн / С. Кинг — «АСТ», 1992

ISBN 978-5-271-40677-5

Убийцы не монстры и не жуткие выродки. Они живут среди нас, кажутся обычными людьми, и ничто в них до поры до времени не предвещает грядущего кошмара. Почему же внезапно убийца преступает важнейший нравственный закон человеческого бытия? «Психология убийства» – тема захватывающего романа Стивена Кинга «Долорес Клейборн».

ISBN 978-5-271-40677-5

© Кинг С., 1992

© АСТ, 1992

# Стивен Кинг

## Долорес Клейборн

*Моей матери  
Рут Пиллзбури Кинг*

*«Чего хочет женщина?»  
Зигмунд Фрейд*

*«У-В-А-Ж-Е-Н-И-Е,  
поймите, что это значит для меня».  
Арета Франклин*

Чего ты спрашиваешь, Энди Биссет? Поняла я права эти, как ты их мне отбарабанил? Господи! И что это мужчины все такие безмозглые? Нет, это ты помолчи! Хватит языком молотить, а лучше меня послушай. И думается, будешь ты меня слушать за полночь, так что сразу попривыкни. Да все я поняла, права эти, все, что ты мне прочитал! Или, по-твоему, я с ума спятила, как поговорила с тобой в супермаркете? Днем в понедельник, если у тебя из головы вон. Я тебе еще сказала, что жена скажет тебе пару теплых слов, что ты вчерашний хлеб купил: цент сэкономил – на доллар прогорел, как говорится. Я как в воду смотрела, а?

Права свои я еще как понимаю. Энди! Моя мать дураков и дур не растила, слава тебе Господи. И обязанности свои я тоже понимаю, Бог мне свидетель.

Говоришь, все, что я ни скажу, может быть использовано против меня на суде, так? Ну, чудесам несть числа! А ты брось зубы скалить. Фрэнк Пролкс! Может, ты теперь и самый что ни на есть полицейский, да я-то помню, как ты без штанов бегал и ухмылка у тебя была вот такая же глупая. Послушай моего совета и улыбочки свои на старух вроде меня не трать. Мне тебя прочесть проще, чем рекламу белья в каталоге Сирса.

Ну ладно, повеселились и будет, пора и к делу. Я вам троим много чего понараскажу, и, может, половина пригодится против меня в суде использовать, если кому захочется такое старье ворошить. Смех, да и только! Ведь на острове давно добрую половину знают, а то и больше, и мне взять да наложить, как старик Нили Робишо говаривал, наклюкавшись, а он редко когда просыхал, это вам всякий скажет, кто его знал.

А вот на одно мне не наложить, потому-то я и пришла сюда сама, никто меня за ворот не тасил. Стерву эту, Веру Донован, я не убивала, и вы у меня поверите, что бы вы сейчас ни думали. С дерьмовой этой лестницы я ее не стаскивала. Решите засадить меня за то, другое, так сажайте, а только этой стервы крови у меня на руках нет. И думается, ты даже сомневаться не станешь, когда я договорю, Энди. Ты всегда был мальчик неплохой – для мальчика. Хотел, чтоб все было по-честному, вот я про что, и вырос приличным мужчиной. Только не очень-то задавайся: вырос ты, как всякий мужчина, которому какая-нибудь женщина стирает, да нос вытирает, да поворачивает, куда надо, чуть ты с пути собьешься.

Еще одно, а уж потом начнем. Тебя, Энди, я знаю, ну и Фрэнка, само собой, а вот кто эта женщина с диктофоном?

Господи, Энди! Да знаю я, что она стенографистка! Я же тебе сказала, что моя мама дур не растила, верно? Может, мне в ноябре и стукнет шестьдесят шесть, но голова у меня в порядке. Если женщина сидит с диктофоном и блокнотом, значит, она стенографистка, а кто же? Я ведь все судебные программы смотрю, даже «Закон Лос-Анджелеса», хоть там никто одетым дольше пятнадцати минут не остается. Как тебя зовут-то, деточка? А-а! И откуда ты?

Уймись, Энди! Какие у тебя еще дела нынче вечером? Собирался на пляж ловить тех, кто ракушки собирает без разрешения? Только, глядишь, сердце-то у тебя таких волнений и не выдержит, а? То-то!

Ну вот! Так-то лучше. Ты, значит, Нэнси Баннистер из Кеннебанка, а я Долорес Клейборн, здешняя, так на острове Литл-Толл и живу. Ну я же сказала, что наговорю с три короба, и сама увидишь, что так оно и будет. Так если захочешь, чтоб я погромче говорила или там повторила что, так сразу скажи, не стесняйся. Я хочу, чтобы ты записала каждое мое слово. И для начала, что двадцать девять лет назад, когда вот этот самый начальник полиции Биссет в первый класс ходил и клей с картинок слизывал, я убила моего мужа, Джо Сент-Джорджа.

Что-то тут засквозило, Энди. Смотри, я уйду, если ты не закроешь свою дурацкую пасть. И чего ты глаза выпучил? Ты же знаешь, что я убила Джо. На Литл-Толле это все знают, да и в Джонспорте за проливом тоже, думается, каждый второй знает. Только вот доказать никто не может. И я бы и не призналась сейчас в присутствии Фрэнка Пролкса и Нэнси Баннистер из Кеннебанка, если бы эта дура старая, стерва Вера, не взялась опять за подлые свои штучки.

Ну да больше-то ей не пакостить, а? Одно утешение.

Придвинь-ка диктофон поближе ко мне, Нэнси, лапонька. Если уж записывать, так уж наилучшим образом, верно? До чего махонькая машинка, а? Чего только эти японцы не навывдумывали! Да уж... но, думается, мы обе знаем, что того, что на пленке внутри твоей пампушечки останется, хватит, чтобы засадить меня в женское исправительное заведение до конца моей жизни. Да только выбора у меня нет. Перед Богом клянусь, я всегда знала, что Вера Донован – моя погибель. Как в первый раз ее увидела, так и поняла. И вот посмотри, что она сделала, что эта чертова старая стерва сделала со мной! Уж теперь она точно сунула мне палку в колеса. Все они такие, богачи: не могут запинать тебя до смерти, так задушат до смерти своей добротой.

– Что?

Да ну тебя, Энди! Я бы давно до дела добралась, не дергай ты меня каждую секунду. Просто я еще не решила, рассказывать от конца к началу или от начала к концу. А выпить у вас чуточку не найдется?

Да иди ты со своим кофе! И кофейник убери куда подальше. Дай простой воды, если уж жалко тебе отлить глоточек из бутылки вон в том ящике. Не такая уж я...

То есть как откуда я знаю? Энди Биссет, можно подумать, ты только вчера из люльки выполз! По-твоему, у людей на острове только и разговору, как я своего мужа убила? Черт, новость-то старенька! А вот ты... сочности в тебе пока хватает.

Спасибо, Фрэнк. Ты тоже всегда был неплохим мальчиком, хотя в церкви на тебя и было страшно смотреть, пока мать не отучила тебя за козюлями охотиться. Господи, бывало, весь палец в ноздрю засунешь – просто чудо, что ты у себя все мозги не повыковырял. Да краснеть-то чего? Еще не родился ребенок, который не добывал бы чуток зеленого золота из своего старого насоса, хоть и с передышкой. Ну а у тебя хватало ума держать руки подальше от штанов и своих шариков хотя бы в церкви, а есть мальчишки, которых...

Да, Энди, да! Я все расскажу. Да что у тебя в брюках – муравьи?

Вот что: начну-ка я не с конца и не с начала, а с середины и пойду в обе стороны. А если тебе, Энди Биссет, это не нравится, запиши в список своих грехов и отправь священнику.

У нас с Джо было трое детей, и, когда он помер летом шестьдесят третьего, Селене сравнялось пятнадцать, Джо Младшему – тринадцать, а Малышу Пити – всего девять. Ну, Джо не оставил мне даже горшка поссать да и окошка, чтобы было куда выплескивать...

Наверное, Нэнси, тебе придется чуток почистить, а? Я же просто старуха с поганим нравом, а языком еще поганей, но только если жизнь у тебя поганая, так чего и ждать-то, а?

О чем бишь я? Совсем сбилась...

А-а! Спасибо тебе, деточка.

Оставил мне Джо лачужку у Восточного мыса да шесть акров земли сплошь в ежевике и всякой дряни, которая вырастает на расчистке. Что еще? Дай-ка подумать? Три машины, которые не заводились, – два пикапа и грузовичок под древесину, – да четыре поленицы дров, да счет от бакалейщика, да счет из скобяной лавки, да счет от нефтяной компании, да счет от гробовщика... А хочешь еще подарочек? Он и недели в земле не пролежал, как является пьянчуга Гарри Дусетт с дерьмовой бумаженцией – Джо ему двадцать долларов проиграл в споре о бейсболе!

Вот что он мне оставил. А думаешь, еще и деньги по страховке? Черта с два! Хоть, может, оно и к лучшему обернулось. Ну, до этого я, может, потом доберусь, а сейчас я одно хочу сказать: Джо Сент-Джордж и не человек был вовсе, а чертов камень у меня на шее. Да только хуже: камни-то не напиваются и не заявляются, смердя пивом, в час ночи и сразу в постель – ублажай его! Убила-то я сукина сына не по этим причинам, ну да начать с чего-то надо же!

Остров, конечно, не место, чтобы убивать кого-то, можете мне поверить. Обязательно кто-нибудь рядом болтается, чтоб сунуть нос в твои дела, когда тебе это совсем уже не нужно. Вот почему я убила, когда убила, и об этом тоже в свой черед скажу. Ну а пока довольно будет, что сделала я это почти точно через три года после того, как муж Веры Донован погиб в автокатастрофе под Балтимором – они там жили, а на Литл-Толле только лето проводили. В те дни мозги у Веры еще набекрень не съехали.

Значит, нет больше Джо и денег нет – вот и делай что хочешь. Я вам одно скажу: во всем мире хуже быть не может, чем остаться одной с тремя детьми на руках. Хоть на стенку от отчаяния лезь! Я уж было решила поискать работу за проливом в Джонспорте – ну там покупки в самообслуживании проверять или официанткой в ресторане, как вдруг эта дурища решила жить на острове круглый год. Все решили, что она чокнулась, а я и не удивилась вовсе: она ведь и так уж тут подолгу жила.

Парень, который у нее тогда работал... Имя я запомнила, но ты, Энди, знаешь, о ком я: ну, красавчик – он еще штаны носил такие тесные, чтобы весь мир видел, яйца у него с банку из-под варенья... Ну так он заявился ко мне и сказал, что хозяйка (он ее так всегда называл – хозяйка, дурак безмозглый) хочет знать, не соглашусь ли я работать у нее экономкой постоянно. Ну я с пятидесятого года летом их обслуживала, так к кому же ей и было обратиться в первую очередь? Только тогда это было ну прямо ответом на мои молитвы. Я сразу согласилась и проработала у нее до самого вчерашнего дня, когда она слетела со ступенек прямо на свою глупую пустую башку.

Чем ее муж-то занимался, Энди? Самолеты строил?

А-а! Наверное, я слыхала, но ты же знаешь, как люди на острове болтают о чем ни попадя. Точно я знаю одно: денег у них хватало, очень даже хватало, и все они ей достались после его смерти. Кроме того, конечно, что правительство отхватило, да только очень сомневаюсь, что оно хотя бы половину получило того, что ему причиталось. Майкл Донован умел соображать. И был очень хитрым. Конечно, никто, кому ее доводилось видеть последние десять лет, не поверит, что Вера в хитрости ему не уступала... И хитрые дни у нее бывали до самой смерти. Я все думаю, знала ли она, какую мне пакость устроит, если не умрет мирненько в своей постели от сердечного приступа, а какой-нибудь другой смертью? Я чуть не весь день просидела на ступеньках у Восточного мыса и все думала об этом... об этом и еще о всяком разном. Сначала решу: нет, у миски с овсянкой под конец больше мозгов было, чем у Веры Донован, а потом вспомню, как она с пылесосом... и уже думаю: а вдруг? Ну а вдруг?

Теперь-то не важно. Теперь важно, что я угодила из огня да в полымя, и очень бы мне хотелось поменьше задницу опалить. Если не поздно хватилась.

Начала я у Веры Донован экономкой, а кончила «платной компаньонкой», как они говорят. Разницу-то я скоро сообразила. Экономкой у Веры я ела дерьмо по восемь часов в день пять дней в неделю. А платной ее компаньонкой я его ела круглые сутки без выходных.

Первый удар ее хватил в шестьдесят восьмом году, когда она смотрела по телевизору съезд демократов в Чикаго. Он был совсем легкий, и она винила за него Губерта Хамфри. «Посмотрела лишний раз на эту сияющую жопу, – говорила она, – и у меня лопнул сосуд в мозгу. Могла бы сообразить, что этим кончится. Ну да с тем же успехом это мог оказаться Никсон!»

В семьдесят пятом удар был потяжелее, и свалить его на какого-нибудь политика она не могла. Доктор Френо ее предупреждал, что ни курить, ни пить ей нельзя, но мог бы и не трудиться – разве станет такая заносчивая киска, как Вера-Целуй-Меня-В-Задницу Донован, слушать старого простого деревенского доктора вроде Чипа Френо? «Я еще его похороню! – говорила она. – И выпью виски с содовой у него на могильной плите».

Ну, и некоторое время казалось, что выйдет по ее – он ей выговаривал, а она, знай себе, плавала, что твоя «Куин Мэри». Ну а в восемьдесят первом ее стукнуло уже крепко, а в следующем году красавчик расшибся в машине на материке. Вот тогда я и поселилась у нее – в октябре восемьдесят второго года.

Обязательно это было? Не знаю. Да нет, пожалуй. Пенсию по страсти, как старушка Хэтти Мак-Леод выражалась, я получала. Не то чтоб много, но дети давно уже со мной не жили – а Малыш Пит так и вовсе долго жить приказал, бедный заблудший ягненок, и кое-что я на черный день отложила. Жить на острове всегда дешевле, и, хотя теперь цены не прежние, все-таки они куда ниже, чем на материке. Ну и, значит, жить у Веры было мне не обязательно.

Но мы свыклись друг с другом. Мужчине это понять трудно. Нэнси тут с ее блокнотами, ручками и диктофоном, думается, понимает, да говорить ей, верно, не полагается. Так мы привыкли друг к другу, ну как, наверное, привыкают летучие мыши, которые висят рядышком головами вниз в одной пещере, хотя добрыми друзьями их никак не назовешь. Да и перемена большой не была. Только, что я праздничные платья повесила в шкафу, где всегда висела моя рабочая одежда. Ведь с осени восемьдесят второго я там бывала все дни напролет, да и ночи почти все там проводила. Деньжат прибавилось, но не настолько, чтоб я сделала первый взнос за «кадиллак», как говорится. Ха!

Думается, просто, кроме меня, больше некому было. В Нью-Йорке у нее был управляющий по фамилии Гринбуш. Только Гринбуш не собирался жить на Литл-Толле, чтобы слушать, как она вопит из окна спальни, чтобы он простыни защемил шестью прищепками, а не четырьмя. Да уж он бы не поселился в комнате для гостей, чтобы менять ей пеленочку, вытирать дерьмо с ее жирной старой задницы, пока она твердит, что он крадет пятицентовики из ее чертовой фарфоровой свиньи-копилки, и обещает сгноить его за это в тюрьме. Гринбуш только чеки отрывал, а я подтирала ей задницу и слушала, как она бредит про простыни, и про мусорных кроликов, и про свою чертову фарфоровую свинью.

Ну и что? Я за это ордена не жду, ни даже «Пурпурного сердца». Дерьма я за свою жизнь навытиралась достаточно, а наслушалась так еще больше (я же шестнадцать лет была замужем за Джо Сент-Джорджем, не забывайте), и ничего, здоровой осталась. Думается, не бросила я ее потому, что никого другого у нее не было. Либо я, либо больница. Дети ее не навещали, и вот тут я ее жалела. Конечно, я не ждала, что они вокруг нее будут прыгать, – не думайте, но все-таки не понимала, почему бы им не забыть про старую ссору, из-за чего бы там они ни разругались, и не приехать на денек-другой, а то и погостить. Стерва она была жуткая, что так, то так. Но им-то она была мать! Ну и состарилась... Конечно, теперь я побольше знаю, чем тогда, и все-таки...

– Что?

Ну да, это чистая правда. Если я вру, так пусть сразу умру, как говорят мои внуки. А не верите мне, так позвоните этому Гринбушу. Думается, едва все выплывет наружу – а уж выплывет наверняка, иначе ведь не бывает, – так бангорская «Дейли ньюс» обязательно напечатает сопливую статейку, как все это раззамечательно. Но вы меня послушайте – ничего тут

раззамечательного нет, а один поганый кошмар. Как бы все ни обернулось, а люди тут обязательно скажут, будто я заморочила ей голову, а как она сделала то, что сделала, сразу ее и прикончила. Уж я знаю. И ты, Энди, знаешь. Нет такой силы на земле, да и на небе, чтоб помешать людям верить в самое скверное, если им так приспичит.

Так во всем этом дерьме ни единого слова правды нет. Ни к чему я ее не принуждала, а сделала она то, что сделала, не потому, что так уж меня обожала – она и привязана-то ко мне не была. Ну, может, сделала она это, потому как считала, что в долгу у меня – на свой чокнутый манер она ведь, глядишь, думала, что очень даже в долгу передо мной, только сказать это она бы никогда не сказала. Не по ее такое было бы. Ну, и даже могла она так меня отблагодарить... Нет, не что я ей задницу подтирала, а за то, что была рядом во все ночи, когда провода из углов вылезали, а мусорные кролики лезли из-под кровати.

Ничего, что вам пока непонятно, потом ясно станет. Обещаю, когда вы по домам отправитесь, то все поймете, все!

Стерва из нее по трем причинам вылазила. Знала я женщин, у кого причин таких было и больше, но и трех хватает для сумасшедшей старухи, которая из постели только в кресло-каталку и выбиралась. Для такой и трех причин по горлышко хватает.

Первая причина, когда она с собой ничего поделывать не могла. Ну помните, что я про прищепки говорила – чтоб простыню шестью пришиливать, а четыремя – ни-ни, и думать не смей? Ну так это только один такой пример.

Если ты работала для миссис Веры-Целуй-Меня-В-Задницу Донован, так обязана была помнить, как что положено делать, и ничегошеньки не забывать. Она сразу указывала, чего ей требуется, и, можете мне поверить, так все и делалось. Один раз забудешь, она тебя отругает. Второй раз забудешь, будет с тебя вычет. Ну а в третий раз забудешь, так вылетишь вон, как там ни оправдывайся. Такое было у Веры правило, и меня оно устраивало. Не очень-то мягкое, но справедливое. Если ты со второго раза не запомнишь, на какие полки ставить выпечку остывать, а на подоконник – ни-ни, не какие-нибудь мы нищие ирландцы, так, значит, не запомнишь никогда.

Три промашки – и ты вылетаешь вон, такое было правило, и никаких тебе исключений. Вот и вышло, что работать мне там пришлось с самыми разными людьми. В старые дни я только и слышала, что пойти работать к Донованам, это как сунуться во вращающуюся дверь. Один оборот сделаешь, два, а кое-кто так и десять умудрится сделать и даже все двенадцать, но в конце концов все равно тебя на тротуар вышвырнет. Ну и когда я пошла к ней в первый раз наниматься (в сорок девятом это было), так будто к дракону в пещеру шла. Только оказалась она все-таки получше, чем ее люди расписывали. Кто умел держать ухо востро, тот надолго оставался. Ну как я или красавчик. Но все время приходилось быть начеку, потому что она всегда все подмечала и про жителей острова знала куда больше остальных летних приезжих... и еще она умела быть ядовитой. Еще тогда, до того, как начались все ее неприятности. Это для нее вроде развлечения было.

– Чего тебе тут надо? – говорит она мне в первый же день. – Тебе бы дома сидеть со своей малышкой и готовить обеды повкусней и пообильней для светоча твоей жизни.

– Миссис Каллем с радостью будет присматривать за Селеной четыре часа в день, – говорю я. – Работать я могу только полдня, мэм.

– А мне больше и не нужно, как, если не ошибаюсь, указано в объявлении, которое я поместила в местной так называемой газете, – отвечает она, показывая свой ядовитый язычок, но не язвя, как потом тысячи раз бывало. Помнится, она тогда с вязанием сидела. А вязала она ну что твоя молния небесная. Пару носков за один день для нее пустяк был, хоть и бралась за спицы не раньше десяти. Только ей для этого требовалось подходящее настроение.

– Да, мэм, – говорю. – Так там и было указано.

– Меня зовут не Дамэм, – говорит она и откладывает вязание, – а Вера Донован. Если я тебя возьму, будешь называть меня миссис Донован – во всяком случае, на первых порах, пока мы не узнаем друг друга поближе, – а я тебя буду называть Долорес. Все понятно?

– Да, миссис Донован, – отвечаю.

– Ну что же, начали мы неплохо. А теперь ответь на мой вопрос, Долорес. Чего тебе тут надо, когда у тебя собственный дом забот требует?

– Хочу подзаработать к Рождеству, – отвечаю. Я еще по дороге решила, как ответить, если она спросит. – А если я вас устрою и, конечно, если мне понравится работать у вас, так, может, я и подольше останусь.

– Если тебе понравится работать у меня! – повторяет она и закатывает глаза, будто ничего глупее в жизни не слышала. Как это вдруг кому-нибудь может не понравиться работать у великой Веры Донован? – Подзаработать к Рождеству, – повторяет она. А потом еще раз совсем уж ядовито: – Подзаработать к Р-ррожд-деству-у-у!

Словно догадалась, что пришла-то я потому, что еще свадебный рис толком из волос не вытрясла, а уже у меня в семье не все ладно. И для подтверждения нужно ей только, чтоб я покраснела и опустила глаза. А потому я не покраснела и глаз не опустила, хотя было мне всего двадцать два года и попала она прямо в цель. Только я ни одной живой душе не призналась бы, что да, не все у меня в семье ладно. Клещами бы у меня этого не вырвали. А с Веры и денег к Рождеству хватило, как бы язвительно она за мной ни повторяла. Да я и себе-то не признавалась – просто, мол, в это лето с деньгами на хозяйство туговато. Только через много лет я наконец признала, что пошла в тот день в берлогу к дракону, потому что надо было как-то возмещать деньги, которые Джо пропивал за неделю и проигрывал по пятницам за покером в «Таверне Фаджи» на материке. Тогда я еще верила, будто любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине сильнее любви к выпивке и всяким безобразиям, что любовь эта надо всем поднимется, как сливки в бутылке с молоком. Ну да следующие десять лет меня многому научили. Жизнь-то для некоторых – школа тяжелая, верно?

– Что же, – говорит Вера, – испытаем друг друга, Долорес Сент-Джордж... хотя, если ты и выдержишь, так, конечно, забеременеешь опять, еще года не пройдет, и больше я тебя не увижу.

А я-то уже была на третьем месяце, но и этих слов из меня клещами не выдрали бы. Мне нужны были эти десять долларов в неделю, и я их получила, а вы не думайте: я каждый цент из них еще как отработывала. Все лето с ног валилась от усталости, а как подошла осень, Вера меня спросила, не хочу ли я продолжать и когда они уедут в Балтимор – такой большой дом нужно держать в порядке круглый год. И я ответила – ладно.

И держалась до последнего месяца, пока Джо Младший не родился, а потом опять туда, еще от груди его не отняла. Летом я оставляла его у Арлена Каллума – чтоб Вера позволила у себя в доме младенцу питаться? Да никогда! Ну а чуть они с мужем уехали, как я начала ходить туда и с ним, и с Селеной. Селену можно было оставлять и одну – она и на третьем годике редко баловалась. Джо Младшего я брала с собой каждый день. Свои первые шажочки он сделал в парадной спальне, только Вера об этом так никогда и не узнала, уж поверьте мне.

Она позвонила мне через неделю после родов (я сначала не хотела посылать ей объявление о рождении, а потом решила, если она подумает, будто я напрашиваюсь на дорогой подарок, так это ее дело), поздравила с сыном, а потом сказала – думается, она только ради этого и звонила, – что держит мое место для меня. По-моему, думала польстить мне – и польстила. Это ведь высшая похвала, на какую способна женщина вроде Веры, и значила она для меня побольше, чем праздничный чек на двадцать пять долларов, который она мне прислала в том декабре.

Она была кремень, но справедливая и в доме – настоящая хозяйка. Ее муж приезжал раз в десять дней, хоть и считалось, будто они туда на все лето переехали, но и когда приезжал,

сразу было видно, кто там главный. Может, двести, а то и все триста его подчиненных сразу штаны спускали, чуть он скажет «срать», но на острове Литл-Толл командовала Вера, и, когда она ему говорила, чтобы он снимал туфли и не следил на ее чистых коврах, он слушался.

Ну, как я уже говорила, у нее все полагалось делать так, а не иначе. Еще как! Где она всех этих правил набралась, я не знаю, зато знаю, они ее точно капкан держали. Чуть что по-другому, и у нее уже голова болит или живот. Она столько времени тратила каждый день, проверяя, а вдруг что-нибудь не так, что, сдавалось мне, ей жилось бы куда спокойней, если бы она плюнула на все и сама бы убиралась.

Все ванны оттирай только «Спик-н-спаном». Ни «Лестойлом», ни «Топ-Джобом», ни «Мистером Клином», а только «Спик-н-спаном». Да поймай она тебя с другим порошком в руке, тут уж несдобровать!

Ну и глажка. Воротнички рубашек и блузки опрыскивай только вот этим раствором крахмала, да не просто, а прежде накрой воротничок особым куском марли. От дерьмовой этой марли толку никакого я не замечала, а я ведь в этом доме перегладила не меньше десяти тысяч рубашек и блузок, но зайди она в гладильню да увидь, что ты гладишь рубашку без этой марли или она с края доски свисает, тогда только держись.

Забудешь включить вытяжной вентилятор, когда жарить что-нибудь на кухне, тоже только держись.

Мусорные бачки в гараже. Всего их было шесть. Раз в неделю приезжал Санни Куист забирать мусор, и экономке – или одной из горничных, кто уж оказывался ближе, – полагалось возвращать бачки в гараж в ту же минуту, нет, в ту же секунду, как он уезжал. И не просто затащить их в угол и оставить там, а обязательно расставить тремя парами вдоль восточной стены гаража и чтоб крышки лежали сверху перевернутыми. А забудешь и не все так сделаешь, тогда держись!

А дверные коврики с «Добро пожаловать»? Их было три – для парадной двери, для двери в патио и для черного хода, где до прошлого года висела хамская табличка «Для рассыльных», но тут уж она мне до того надоела, что я ее отвинтила. Раз в неделю мне полагалось раскладывать эти коврики на большом камне в конце заднего двора... то есть ярдах в сорока от бассейна, хотела я сказать. Раскладывать и веником выбивать пыль. Да так, чтобы она столбом стояла. А не станешь усердствовать, тут тебя и изловят. Она, правда, не каждый раз следила, но часто. Стоит себе в патио с мужниным биноклем. А главное, когда коврики на место кладешь, «Добро пожаловать» поверни от двери. Так, чтобы люди, подходя к любой двери, могли прочитать надпись. А положишь коврик надписью к двери, ну тогда держись!

И таких вот вещей надо было с полсотни помнить. В прежние-то дни, когда я приходившей горничной начинала, в лавке Вере Донован все косточки перемывали кому не лень. Донованы тогда часто устраивали всякие приемы, и в пятидесятых годах прислуги у них было полно, и обычно больше всех на нее взъедалась какая-нибудь девчонка, которую взяли приходившей, а потом выгнали, когда она в третий раз нарушила какое-то правило. И уж она расписывала Веру Донован всем, кто хотел послушать, – старая злыдня и совсем свихнутая вдобавок. Ну, может, она свихнутой была, а может, и не была, но одно я вам скажу: если ты все помнила, то она к тебе не придиралась. Я так считаю: раз уж ты помнишь, кто с кем спит во всех этих сериалах, которые показывают днем, так могла бы не путаться, а ванны оттирать «Спик-н-спаном» и «Добро пожаловать» поворачивать куда следует.

А уж простыни! Уж тут смотри не промахнись. Чтобы висели на веревке точно краешек в краешек и на шести защипках. Четыре – ни-ни-ни! Только шесть. А если проволочишь одну по земле, можешь не дожидаться, чтобы проштрафиться в третий раз! Веревки были натянуты в боковом дворе прямо под окном ее спальни. И она год за годом кричит на меня из этого окна: «Шесть защипок, Долорес, шесть! Слышишь? Шесть, не четыре! Я считаю, а глаза у меня все такие же зоркие!» Уж она...

Что-что, деточка?

Да ну тебя, Энди! Что ты ей рот затыкаешь? Она дело спрашивает. Ни у одного мужчины умишка не достанет спросить про это.

Я тебе отвечу, Нэнси Баннистер из Кеннебанка в Мэне. Да, у нее была сушилка, хорошая, очень большая, но нам запрещалось сушить в ней простыни, разве что пообещают дождь пять дней напролет. «Приличные люди спят только на простынях, которые сушились на воздухе, – вот что Вера любила говорить. – Потому что они чудесно пахнут. Немножко ветром, который их колыхал, – он пропитал их, и этот аромат навевает сладкие сны».

Она любила всякую чушь пороть, а вот насчет запаха свежего воздуха в простынях – нет. Я всегда думала, что вот тут она права была. Да кто угодно почует разницу между простыней из сушилки и той, которая под южным ветром сохла. Да только утром зимой – а сколько таких утр было-то! – когда зубы от холода стучат, а ветер сырой и всюду дует с востока, прямо с Атлантики, я бы от этого свежего запаха отказалась бы и глазом не моргнула. Развешивать простыни в холодрыгу – это, скажу я вам, настоящая пытка. Только те поймут, что это такое, кто их сам хоть раз развешивал. И уж этого раза никогда не забудешь.

Тащишь корзину к веревкам, а над ней пар так и курится, и первую простыню берешь совсем теплую, а если ты это впервой, так еще подумаешь: «Ну, так еще терпеть можно!» Только, когда первую на веревку закинешь, да края выровняешь, да защипнешь на шесть защипок, пар-то уже не курится. Мокрая-то она мокрая, а еще теперь и холодная. Пальцы у тебя тоже мокрые и совсем замерзли. А тебе надо вторую вешать, и третью, и четвертую – а пальцы у тебя совсем красные и еле гнутся, а плечи ноют, а губы от защипок онемели – руки-то надо освободить, чтобы держать эти поганые простыни и выравнивать их. Но хуже всего пальцы. Онемей они, это бы еще ничего, просто даже хочешь, чтоб они ничего не чувствовали. Но они только краснеют, а если простынь много, так они становятся лиловатыми, будто обводка у некоторых лилий. К концу у тебя уже не руки, а просто клешни какие-то. А хуже всего то, что тебя поджидает, когда ты с пустой корзиной в дом вернешься и тепло хлестнет тебя по рукам. Их как иголками колет, а суставы начинают ныть, только это чувство такое особое, в самой глубине, точно дергает что-то или плачет. Я бы тебе объяснила, Энди, да не могу. Вот Нэнси Баннистер так на меня смотрит, будто знает – хоть немножко, да знает. Только одно дело развешивать стирку зимой на материке и совсем другое – на острове. А когда пальцы отогреваются, то в них точно муравьи ползают. Ну и растираешь их лосьоном и ждешь, чтоб они чесаться перестали, а сама знаешь: сколько ни втирай в них покупного лосьона или по старинке бараньего жира, а к исходу февраля кожа на них так потрескается, что лопнет и кровь пойдет, если сжать кулак покрепче. А иногда вроде бы и согреешься и спать ляжешь, а ночью руки тебя разбудят и заплачут от памяти об этой боли. Думаете, я шучу? Смейтесь, если хочется, только мне-то не до шуток. Так и слышишь их, точно малые детки до матери не докличутся. Из самой глубины идет, а ты лежишь и слушаешь, а сама знаешь, что наружу-то все равно опять пойдешь, и конца ему нет. Это все женская работа, а мужчины о ней ничего не знают и знать не хотят.

И вот ты там с корзиной, руки онемели, пальцы совсем лиловые, из носа течет и примерзает к верхней губе, ну прямо клещ какой-то, а она стоит или сидит у окна спальни и смотрит на тебя. Лоб наморщит, губы сожмет и пальцы переплетает от напряжения, точно это опасная операция в больнице, а не белье вешают сушить на зимнем ветру. И видишь, как она сдержаться пробует не разевать свою пасть хоть разочек, только куда там! Долго не выдерживает – откроет окно, высунется, а холодный восточный ветер волосы ей треплет. Она смотрит вниз и орет: «Шесть защипок! Не забудь защемить ее шестью защипками. И смотри, чтобы ветер не подметал двора моими простынками! Так что слушай! А то ведь я слежу и я считаю!»

К марту мне все снится, что хватаю я топорик, которым мы с красавчиком рубили растопку для кухонной плиты (ну, пока он не помер, а с тех пор вся работка мне одной досталась, уж такая я счастливица!), и рублю эту стерву громкоголосую прямо между глаз. Иногда я прямо

видела, как делаю это, вот до чего она меня доводила! Да только я всегда знала, что в ней что-то ненавидит эти крики из окна не меньше меня.

Вот, значит, первая причина, почему она была стерва – ничего с собой поделывать не могла. Для нее-то это было даже похуже, чем для меня, особенно после серьезных ее ударов. К тому времени стирки развешивать было куда меньше, только она-то была на этом помешана, как и раньше, до того, как почти все комнаты в доме были заперты, постели для гостей почти все убраны, а простыни завернуты в целлофан и уложены в шкаф.

А особенно ей тяжело было, что к восьмьдесят пятому году никого она уже врасплах поймать не могла – без меня ей и с места было не сдвинуться. Если меня не было, чтобы ее с кровати поднять да в кресло-каталку усадить, так она в кровати и лежала. Очень уж разжирела, понимаете? Со ста тридцати фунтов в начале шестидесятых потяжелела до ста девяноста – и все желтоватый такой дряблый жир, какой у стариков бывает. Свисал у нее с рук, с ног и с задницы, точно тесто со скалки. Есть люди, которые на закате лет совсем тощат, но только не Вера Донован. Доктор Френо объяснял, что у нее почки со своим делом не справляются, отсюда и жир. Может, оно так, да только мне сто раз на дню казалось, что вес этот она набрала назло мне.

Ну вес весом, а еще она совсем ослепла. Все из-за ударов. А то зрение, какое ей осталось, то совсем пропадало, то возвращалось. Бывали дни, когда она чуточку видела левым глазом, а правым так и совсем хорошо, но чаще она говорила, что смотрит будто через толстую серую занавеску. Думается, вы понимаете, почему она от этого прямо с ума сходила – она же всегда за всем приглядывать любила. Она из-за этого даже плакала, а уж, поверьте, такая твердокаменная так просто не заплачет.

Чего-чего, Фрэнк?

В маразме она была?

Твердо не скажу. Святая правда. Но не думаю. А если и да, так по-другому, чем это у стариков бывает. И говорю я так не потому, что судья, утверждающий ее завещание, сморкнется в него, чуть объявят, будто она под конец ума лишилась. Да по мне пусть он им подотрется, лишь бы мне выбраться из чертовой ловушки, которую она мне устроила. И все ж таки скажу, что на чердаке у нее не вовсе пусто было, даже и в последний день. Хоть и не по всем углам, но кое-что там имелось.

Я почему так говорю? Выпадали дни, когда она и вовсе почти прежней становилась. В те обычно, когда она и видела чуть получше, и подсобляла, когда я ее на постели сажала, а то даже сама два шажочка до кресла делала, не ждала, чтоб ее на него перекинули, как куль с мукой. Я ее в кресло сажала, чтобы постель перестелить, а она и рада добраться до своего окна, откуда боковой дворик виден, а дальше порт. Как она мне сказала, что совсем рехнулась бы, лежи день и ночь напролет в кровати и гляди только на потолок да стены. Это уж так.

Бывали у нее и смутные дни, когда она меня не узнавала да и себя не помнила. Будто лодка она была в такие дни, которую оторвало от причала и унесло в океан. Только ее-то океаном было время – утром думает, что сейчас сорок седьмой год, а днем – семьдесят четвертый. Но ясные дни у нее тоже бывали. Все меньше да меньше, как время шло, и у нее опять да опять легенькие ударчики случались, а все-таки бывали. Только ее хорошие дни частенько оборачивались моими плохими, потому как она сразу за прежнее бралась, только дай ей волю.

Всякие пакости строила. Это во-вторых, почему она стервой была. Когда ей взбрело, пакостила она хуже всякой кошки бездомной. Даже целыми днями в постели лежа в резиновых штанах, с пеленочкой в них, она всю душу вымотать умела. Уж как она пакостила в дни уборки! Вот вам пример. Ну не то чтоб каждую неделю, но, черт подери, я вам прямо скажу, что не может быть совпадением, что пакостила она все больше по четвергам.

У Донованов большая уборка проводилась по четвергам. Дом-то большой – вы и понятия не имеете, до чего большой, пока внутри не заблудитесь, – но почти все комнаты теперь

заперты. Те дни, когда полдюжины девушек, завязав волосы косынкой, стирали пыль здесь, мыли окна там и сметали паутину в углах потолка еще где-нибудь, кончились лет двадцать назад. И когда я проходила по этим мрачным комнатам, глядела на укутанную чехлами мебель, то вспоминала, как они выглядели в пятидесятых, когда летом съезжались гости, – и снаружи над газоном всегда разноцветные японские фонарики, уж их-то я не забуду! – и по коже у меня мурашки бегали. К концу яркие цвета из жизни уходят – вы замечали? В конце все выглядит серым, будто застиранное платье.

Последние четыре года открыты в доме были только кухня, большая гостиная, столовая, солярий, который выходит на бассейн и патио, да четыре спальни наверху – ее, моя и две гостевые. Зимой гостевые почти не отапливались, но содержались в порядке – а вдруг ее детки решат все-таки навеститься к ней.

И даже в последние годы в дни уборки мне всегда помогали две девушки из города. Они все время менялись, но с девяностого это были Шона Уиндхем и Сьюзи, сестра Фрэнка. Без них я бы не справилась, хотя еще много чего сама делаю; к четверем часам, когда по четвергам девушки отправлялись домой, я с ног валилась. А работы оставалось еще порядком – догладить, написать список, чего купить в пятницу, и, само собой, ужин для госпожи приготовить. Нет покоя грешным, как говорится.

Да только прежде, чем за эти дела приниматься, погляди, что она успела напакостить.

Почти всегда свои дела она делала аккуратно. Я под нее судно подкладывала каждые три часа, и она для меня дзинь-дзинь-дзинь по-хорошему. И почти всегда после полудня в судне еще и котяшка оказывалась.

То есть только не по четвергам.

А по четвергам – по тем, когда у нее в голове прояснялось, – я уж знала, что без неприятностей мне не обойтись – и без ломоты в спине до полуночи. Под конец даже анасин-три совсем перестал помогать. Я всю жизнь почти была здоровой, как ломовая лошадь, да и сейчас тоже, но шестьдесят пять – это шестьдесят пять. Хватка уже не та.

По четвергам в шесть утра судно я вынимала так, чуть обрызнутое – это вместо половины-то, как обычно! И в девять то же самое. А в полдень вместо мочи и еще котяшки вообще пусто. И тут мне ясно становилось, что для меня готовится. А уж совсем точно я знала, если и в среду в полдень она ничего в судно не накладывала.

Вижу, вижу, Энди, тебя смех разбирает, так ты не крепишься зря, а смейся, если тебе приспичило. Тогда-то мне не до смеха было, а теперь все позади, и то, что ты думаешь, – чистая правда. Подлюга старая говно свое будто в сберегательном банке держала и потом на неделе вроде бы забирала проценты... только разделяться-то с ними мне приходилось, хотела я того или нет.

С полудня в четверг я только и делала, что бегала наверх, стараясь ее поймать вовремя, и иногда даже успевала. Да только глаза глазами, зато уши у нее были в полном порядке, и она знала, что пылесосить ковер в гостиной я городским девочкам никогда не доверю. И чуть слышит, как там пылесос заработал, поднатужится, ну и начинает этот ее говновый вклад приносить проценты.

Потом я придумала способ, как ее подлавливать. Заору девочкам, что берусь за гостиную, – заору, даже если они в столовой рядом, и даже пылесос включу, а сама шасть к лестнице, одной ногой встану на нижнюю ступеньку, а другой за столбик перил держусь, будто бегунья на дорожке, которая вся подобралась и только выстрела стартера ждет.

Ну раза два я взбегала рановато. Без толку. Точно тебя за фальстарт с забега сняли. Попасть туда требовалось после того, как она запустит свой мотор, но прежде, чем успеет дернуть за рычаг и вывалить груз в свои резиновые штанищи. Ну да я наловчилась. Да и вы бы постарались, знай вы, что придется вам ворочать старуху в сто девяносто фунтов весом, если опоздаете. Словно с ручной гранатой возишься, только заряженной говном, а не взрывчаткой.

Влечу в спальню, а она лежит на своей больничной кровати, лицо все красное, губы перекошены, локтями в матрас упирается, кулаки сжимает и кричит: «Аннх! Аннннххх! АНННН-НННННХХХ!» И вот что я вам скажу: подвесить бы к потолку пару мушиных липучек, а ей на колени положить бы каталог Сирса – и все чин чинарем.

Нэнси, да брось ты губы кусать – лучше, как говорится, выпустить да стыд терпеть, чем крепиться и терпеть боль. Да и вообще-то тут своя смешная сторона есть – у говна как не быть? Спроси у любого мальчишки. Мне и самой-то сейчас смешно, когда все уже позади, а это что-то да значит, верно? Во что бы я сейчас ни вляпалась, а с говенными четвергами Веры Донован мне больше не мучиться.

Она услышит мои шаги и прямо взбесится. Ну будто медведь, у которого лапа в дупле с медом застряла. «Что ты здесь делаешь? – спрашивает чванным голосом – он у нее всегда чванным делался, чуть изловишь ее на какой-нибудь чертовщине. Будто все еще учится в Вассаре или каком еще зазнайном колледже, куда ее родители отдали. – Сегодня день уборки, Долорес! И занимайся своим делом! Я не звонила, и ты мне не требуешься!»

Ну да меня не запугаешь.

«Очень даже требуюсь, – говорю. – Ваша-то задница испускает не «Шанель номер пять», а?»

Иной раз она старалась меня по рукам бить, когда я одеяло и простыню отгибала. А сама уставится на меня, будто в камень превратит, если я сейчас же не уйду, а нижнюю губу выпятит – точь-в-точь малыш, которому в школу идти неохота. Ну да меня этим не проберешь – Долорес, дочку Патрисии Клейборн. Простыню сдеру, за три секунды спущу с нее штаны и развяжу завязки пеленочки у ней между ног, хлопает она меня по рукам или нет. Обычно-то она тут же переставала, потому как попалась, и мы обе это знали. А машина-то ее была такой дряхлой, что, раз стронувшись с места, уже остановиться не могла. Аккуратненько подложу под нее судно, а когда ухожу, чтоб и вправду за гостиную взяться, она ругается, как матрос в порту, – и ни про какой Вассар уже и намека нет, можете мне поверить. Потому что знает, что проиграла, уж поверьте мне, а проигрывать Вера никогда не терпела. Даже вот совсем в детство впала, а чтоб в дурах остаться – ни-ни.

Вот так дело и шло, и я уж решила, что выиграла войну, а не две-три битвы. Да только поторопилась.

Ну, подошел день уборки – полтора года назад это было, – и я готовлюсь бежать наверх и опять ее изловить. Я даже вроде бы во вкус вошла: все-таки возмещение за все разы, когда верх за ней оставался. А я высчитала, что надо говенного торнадо ждать, не иначе, если по ее выйдет. Все признаки налицо были и с лихвой. Во-первых, у нее не просто ясный день выпал, а целая ясная неделя – в понедельник она даже попросила, чтоб я ей на ручки кресла доску положила – пасьянс «Большие часы» раскладывать, прямо как раньше. А вот с отправлениями у нее большая засуха вышла: с воскресенья ничего в кружку для пожертвований не опустила. Вот и я рассчитала, что в этот четверг она задумала выложить мне не только весь свой вклад, а еще и рождественские премиальные.

Ну вытащила я из-под нее судно в этот четверг в полдень, а там сухо, ну я ей и говорю:

– Вера, а может, поднатужитесь чуток, а?

– Ах, Долорес, – говорит и глядит на меня своими мутно-голубыми глазами, ну прямо ангельчик с елки. – Я уже тужилась, как могла. Так сильно, что больно стало. Наверное, меня заперло.

И я с ней согласилась!

– Да, видно так, и, если вас скоро не прочистить, придется скормить вам всю коробочку слабительного, чтоб вышибить пробку.

– Полагаю, все само образуется, – говорит и улыбается мне. У нее зубов-то к тому времени не осталось вовсе, а нижнюю челюсть вставлять ей можно было только, пока она сидела –

лежа-то она могла закашляться, втянуть челюсть в глотку да и подавиться насмерть. Ну и лицо у нее, когда она улыбалась, было точно корявое полено с дыркой от сучка. – Ты меня знаешь, Долорес, я не люблю торопить природу.

– Да уж, я тебя знаю, – бурчу и повернулась, чтоб уйти.

– Что ты сказала, милочка? – спрашивает она так сладко, что хоть сахар в чай не клади.

– Сказала, что не могу торчать здесь весь день, дожидаться, пока вы свое не сделаете, – говорю. – Меня работа ждет. Сегодня же уборка, сами знаете.

– Ах, неужели? – говорит, будто с самой же первой секунды, как проснулась, не помнила, что нынче четверг. – Ну так ты иди, иди, Долорес. Если мне будет нужно судно, я тебя позову.

Позовешь, как же! – думаю я. Через пять минут, как наложишь! Но я этого не сказала, а ушла вниз.

Достала пылесос из кухонного шкафа, унесла его в гостиную, воткнула вилку. Но включать сразу не стала, а несколько минут тряпкой протирала. Я уже до того наострилась, что нужное время само собой угадывала, и ждала, когда что-то мне шепнет, мол, пора.

А чуть шепнуло, я завопила Сьюзи и Шон, что начинаю пылесосить гостиную, да так громко, что меня небось полпоселка слышало вместе с вдовствующей королевой наверху. Я включила «керби» и побежала к лестнице. Долго тянуть не стала – тридцать, ну сорок секунд, потому как рассчитала, что в этот день она на ниточке висит. Ну и помчалась наверх – через две ступеньки, и что бы вы думали?

А ни-че-го!

Ни-че-го-шень-ки!

Кроме...

Кроме того, как она на меня поглядывала. Спокойненько, сладенько так.

– Ты что-нибудь забыла, Долорес? – Ну просто воркует!

– Ага, – отвечаю. – Забыла бросить эту работу пять лет назад. Прекратите, Вера, а?

– Но что прекратить, милочка? – спрашивает и ресницами машет, будто понятия не имеет, о чем я.

– Хватит увиливать, вот я о чем. Говорите прямо – нужно вам судно или нет?

– Не нужно, – отвечает самым честным своим голосом. – Я же тебе уже сказала! – И улыбается мне. Ничего больше не сказала, да и зачем. Лицо ее сказало все, что требовалось. «Ага, Долорес, попалась! – говорило оно. – Никуда ты не денешься!»

Но она рано радовалась. Я же знала, сколько добра она в себе поднакопила, и знала, каково мне придется, если она успеет начать, прежде чем я под нее судно подсуну. Ну я спустилась, постояла возле пылесоса, а через пять минут – опять наверх. Только на этот раз она мне не улыбнулась. На этот раз она лежала на боку и дрыхла... то есть так мне подумалось. Нет, правда. Она меня ловко провела, а вы знаете присловье: ты меня раз провела – тебе стыдно, ты меня два раза провела – мне стыдно.

Когда я во второй раз спустилась, то по-настоящему пропылесосила гостиную. Потом убрала «керби» и пошла проверить ее. А она сидит на кровати, сна ни в одном глазу, одеяло отброшено, резиновые штаны спущены до толстых ее дрыхлых колен, а пеленочка развязана. Навалила? Да Господи, постель полна говна, она вся в говне, говно на полу, на кресле, на стенах. Даже на занавесках. Не иначе как она его горстями черпала и швыряла, ну как ребятишки илом швыряются, когда в пруду плещутся.

Ну я взбесилась! Просто плевать хотелось.

– Ну Вера! – кричу. – Стерва ты поганая!

Не убивала я ее, Энди, не то бы в тот день ее бы и прикончила, как увидела все это говно и подышала вонью-то! Так бы ее и убила! А она уставилась на меня рыбьим своим взглядом, какой у нее появлялся, когда ум за разум заходил... но я-то видела, что в них чертенята так

и прыгают, и уж тут ясно было, кто над кем на этот раз верх взял. Два раза меня провела – мне стыдно.

– Кто это? – бормочет. – Бренда, это ты, милочка? Опять коровы разбрелись?

– Сами знаете, что коров здесь с пятьдесят пятого ближе трех миль не бывало! – воплю, а сама в комнату так и ринулась. И зря – одной туфлей вляпалась и чуть спиной не приложилась. Ну уж тогда, думается, я бы ее и вправду прикончила, не сдержалась бы. В ту минуту я готова была сеять огонь и пожинать серу.

– Яааааа... – тянет, точно безмозглая карга, какой она в другие дни бывала. – Яааааа... ничего не вижу, и желудок у меня совсем расстроился. Кажется, мне надо кака... Это ты, Долорес?

– Конечно, я, а кто ж? У, сова старая, – кричу. – Так бы тебя и убила!

Думается, Сьюзи Пролкс и Шона Уиндхем уже внизу лестницы слышали, и, думается, ты уже с ними поговорил и они уже на меня петельку накинули. Ты не отвечай, Энди. Лицо у тебя само все говорит.

Вера видит, что меня не провела... то есть на этот раз, и бросила притворяться, будто на нее затмение нашло, и сама взбесилась, чтоб себя отстоять. Может, я ее чуток и напугала. Теперь-то помнится, я и сама напугалась... но, Энди, видел бы ты эту спальню! Точно обеденный час в аду.

– С тебя станется, – кричит она в ответ. – Ты и вправду убьешь, образина ты эдакая, ведьма старая! Убьешь меня, как своего муженька убила!

– Нет, мэм, – говорю. – И не так вовсе. Когда решу вам пасть заткнуть, так я не стану время тратить несчастный случай изображать. А выкину тебя из окошка – и дело с концом, будет в мире одной вонючей стервой меньше.

Ухватила ее поперек живота и как подниму, будто богатырша какая-то. А ночью мне спину так заломило, скажу я вам, что утром я еле ходила, до того было больно. Я добралась в Макьяс к массажисту, и он что-то там нажал, так что мне легче стало, но с того дня понастоящему здоровой я себя уже не чувствовала. А вот в ту минуту я ничего даже не заметила. Сволокла ее с кровати, будто она тряпичная кукла, а я девчушка, которой задали трепку, вот она и отводит душу. Тут ее затрясло, а я, как поняла, что она и правда перепугалась, сумела с собой совладать, но не буду врать: от ее страха мне прямо весело стало.

– Ууууууу! – вопит. – Ууууууу! Не тащи-и-и-и меня к окну! И думать не смей меня выкидывать, говорят тебе! Отпусти меня! Долорес, мне бооооольно, ууууууу! Отпусти-и-и-и...

– Прикуси язык-то! – говорю и плюхаю ее в кресло так, что у нее зубы залязгали бы, будь чему лязгать. – Лучше погляди, какую ты пакость развела! И не болтай, будто ничего видеть не можешь. Очень даже можешь! Ну и гляди!

– Мне очень жаль, Долорес, – говорит. И захныкала. Да я-то вижу, в глазах у нее огонек такой подленький пляшет. Вот как рыбки в прозрачной воде, когда встанешь в лодке на колени да через борт на них и смотришь.

– Мне очень жаль, я не хотела пакостить, только помочь хотела.

Она всегда так говорила, чуть обложится да вымажется... Ну да художествами такими она в первый раз занялась. «Я только помочь хотела, Долорес!» Господи Иисусе!

– Сиди и помалкивай! – ору. – Если вправду не хочешь быстренько прокатиться до окна и еще побыстрее слететь на альпийскую горку, так делай, как тебе говорят.

А эти девки у лестницы, конечно, каждое наше слово слышали. Но меня такое тогда зло взяло, что я и думать про них забыла.

Ну ума заткнуться у нее достало, но сидит довольная-предовольная. А чего? Устроила, что хотела, и победительницей из битвы вышла она – показала ясно, как солнышко на рассвете,

что война-то и не кончилась вовсе. Куда там! Ну, взялась я за работу – чистила, порядок наводила. Битых два часа провозилась, и под конец спина у меня всюю «Аве Мария» распевала.

Про простыни я вам рассказала, каково это было, и по глазам видела, что кое-что вы поняли. А вот пакости ее понять труднее. То есть говно-то еще ладно. Я его всю жизнь вытирала, и ничего. Богу душу не отдала. Благоухает, конечно, не розами, и с ним поаккуратней надо, потому как оно заразное бывает – что там сопли, мокрота или кровь из пореза, да только оно смывается, понимаете? Кто с младенцами дело имел, тот знает: говно смывается. И главная пакость вовсе-то не в нем была.

А в ейной подлости. Все-то по-хитрому, исподтишка. Выждала, улучила случай и наложила, сколько сумела. А как торопилась-то! Знала, что много времени я ей не дам. Она эту гадость нарочно устроила, понимаете? Все заранее обдумала, насколько затуманенные мозги позволили, – вот отчего у меня сердце заходило и в глазах чернело, пока я за ней убирала. Пока с кровати все стаскивала, пока загаженный чехол с матраса, и простыни загаженные, и загаженные наволочки в прачечную сбрасывала; пока пол оттирала, и стены, и стекла оконные; пока постель перестилала, пока зубы стискивала и спину свою усмиряла, чтоб ее обмыть, чистую ночную рубашку на нее напялить да с кресла перетащить назад на кровать (она-то ни чуточки не помогала, а обмякла у меня на руках, хоть я-то знала, что день у нее хороший и она могла бы помочь, если бы захотела), пока пол мыла да мыла ее чертово кресло, а уж тут скрести требовалось во всю силу, как оно уже совсем засохло, – пока я все это делала, сердце у меня заходило и в глазах чернело. А она-то все понимала!

Понимала и радовалась!

Когда я домой пришла в этот вечер, сразу приняла анасину-три, чтоб спине полегче стало, и легла, и свернулась клубком, хоть спине больнее стало, и плакала, плакала, плакала. Просто остановиться не могла. Никогда я – ну разве тогда из-за Джо – не чувствовала себя такой разбитой и совсем беспомощной. И еще такой чертовой старухой!

Вот еще причина, по какой она была стерва, – любила пакостничать.

Что-что, Фрэнк? Повторяла она?

Дурной ты, что ли? Конечно, повторяла. На следующей неделе то же самое устроила, и на следующей, и на следующей. Не так, конечно, как в самый первый раз, – отчасти потому, что не сумела накопить столько процентов, но, главное, потому, что я уже начеку была. Когда во второй раз она это устроила, я опять в слезах легла, а спина у меня так разнылась, что я тут же решила – уйду! А что с ней будет и кто за ней ухаживать станет, мне наплевать было, пусть бы сдохла с голоду в своей засранной кровати!

Я так и заснула в слезах, потому как от мысли, что я уйду, что она надо мной верх взяла, мне уж совсем погано стало, а вот проснулась совсем бодрой. Верно, правду говорят, будто мозги не засыпают, хоть сам человек и спит, а все думают и думают, и иногда это у них даже лучше получается, раз хозяин ихний не забывает их всякой дневной чушью – что еще там надо сделать, да что сготовить на обед, да когда телик включить, – ну чем-то в таком роде. Нет, это верно: ведь проснулась-то я бодрой потому, что уже знала, как она меня надувает. Раньше-то я не сообразила, потому что все больше недооценивала ее. Ага, даже я, хотя знала же, до чего она хитрой бывает. А как я в том разобралась, так сразу поняла, как ее подловить.

Мне прямо нехорошо стало, как подумала, что придется-таки мне доверить девочкам пропылесосить ковер в гостиной – а от мысли, что чистить его возьмется Шона Уиндхем, мне и вовсе худо стало. Ты же знаешь, Энди, какая она чокнутая. Конечно, все Уиндхемы чокнутые, только она любому из них семьдесят очков вперед даст. И вина-то не ее: в крови что-то не то. Да я просто вообразить не могла, как Шона шныряет по гостиной, а Верин хрусталь и всякие стеклянные штучки прямо напрашиваются, чтоб их на пол смахнули.

Но что-нибудь сделать я должна была! Дважды попалась и со стыдом осталась, а у меня, к счастью, еще Сьюзи была. Ей тоже не в балете танцевать, но весь следующий год ковер пыле-

сосила она и ни разу ничего не кокнула. Хорошая девочка, Фрэнк, и даже выразить тебе не могу, как я рада была получить от нее объявление о свадьбе, хоть жених и не с острова. Как они поживают-то? Ты чего-нибудь знаешь?

Ну и хорошо. Просто замечательно. Я рада за нее. Думается, младенцем они еще не обзавелись? Теперь, по-моему, люди ждут, пока не подойдет пора отправляться в дом для престарелых, прежде чем они...

Да, Энди! Да, собираюсь! Только вспомнил бы, что я тут с вами о моей жизни толкую – о моей чертовой жизни! Так сядь-ка в свое кресло, задери ноги на стол и не дергайся! Будешь так нажимать, смотри, у тебя кишка лопнет!

Так что, Фрэнк, передай ей от меня наилучшие пожелания и добавь, что летом девяносто первого она Долорес Клейборн жизнь спасла. Можешь ей всю подноготную сообщить о четверговых говнопадах и как я с ними покончила. Я им тогда ничего толком не объясняла, и они знали только, что я бодаюсь с ее королевским величеством. Теперь-то я понимаю, мне стыдно было им признаваться. Видно, быть в проигрыше мне нравится не больше, чем Вере.

Все дело было в гудении пылесоса, понимаете? Вот что я поняла, когда проснулась в то утро. Я же вам сказала, что с ушами у нее все в порядке было и она по гудению пылесоса решала, действительно ли я гостиную убираю или стою на часах у лестницы. Когда пылесос на месте стоит, он только один звук испускает, понимаете? Зууууу да зуууу. А когда обрабатываешь ковер, звуков два, и они вроде бы как волнами поднимаются и опускаются. Уууооп, когда щетку вперед толкаешь, и зууп, когда ты ее к себе подтаскиваешь. Уууооп-зууп, уууооп-зууп, уууооп-зууп.

Да перестаньте вы, двое, в затылке скрести, лучше посмотрите, как Нэнси улыбается. Чтоб узнать, сколько времени кто из вас пылесосил, хватит на вас поглядеть, и все. Коли ты вправду думаешь, что это важно, сам попробуй. Сразу и услышишь, да только, думается, Мария помрет на месте, если вдруг войдет и увидит, как ты ковер в гостиной пылесосишь.

В то утро, значит, я сообразила, что она уже больше не ждет, чтоб пылесос загудел, потому как поняла, что это без толку теперь, и начала прислушиваться, чтоб звук волнами шел – значит, пылесос работает по-настоящему. И она откладывала пакостить, пока не услышит эти волны уууооп-зууп.

Я просто с ума сходила, поскорее бы проверить свою новую мысль, но не могла – она как раз тогда плоха сделалась и довольно-таки долго справляла свои дела в судно или мочила пеленочку, если приспичило. И я даже напугалась, что на этот раз она больше уж не прочухается. Я понимаю, это вам странным кажется, раз за ней было куда легче ходить, пока она совсем без ума была, да только, когда человеку придет такая хорошая мысль, уж очень хочется ее на деле испробовать. И еще, знаете, я ведь к этой стерве всякое чувствовала – не только придушить ее хотела. Да и как же иначе, коли я ее больше сорока лет знала. Один раз она мне плед связала, знаете ли, – задолго до того, как совсем плоха сделалась, и он все еще лежит у меня на кровати и греет в февральские ночки, когда ветер очень уж разыграется.

Ну только через месяц – или там месяц с половиной – после того, как меня осенило, начала она понемножку очухиваться. Смотрела «Ловушки» по маленькому телевизору в спальне и ругала участников, если они не знали, кто был президентом во время испано-американской войны или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». И опять завела старую песню, как ее дети могут приехать навестить ее перед Днем Труда. Ну и, само собой, она требовала, чтобы ее усадили в кресло – а как же! Должна же она убедиться, что я буду простыни на шесть защипок сажать, а не на четыре.

И вот пришел четверг, когда я вытащила из-под нее судно в полдень, а там сухо и пусто, как у дурака в голове. «Ага, лиса ты старая, – думаю. – Вот теперь увидим!» Спускаюсь и зову Сьюзи Пролкс в гостиную.

– Я хочу, чтобы сегодня тут пропылесосила ты, Сьюзи, – говорю.

– Ладно, миссис Клейборн, – отвечает. Они обе меня, Энди, так называли, и почти все люди на острове тоже. Я никогда ничего против не возражала – ни в церкви, ни где еще, вот так оно и остается. Может, они думают, что где-то на своем пестром жизненном пути я вышла за какого-то Клейборна... А может, мне просто хочется верить, что почти все они позабыли про Джо, хотя, думается, что очень даже не все. Ну да в конечном счете не важно, так ли, эдак ли. Думается, у меня есть право верить в то, во что я хочу верить. Что ни говори, а замужем-то за сукиным сыном я была, а не кто-нибудь другой.

– Не твое дело, – говорю. – Только ты сама не ори так. И не вздумай что-нибудь тут разбить, Сьюзен Эмма Пролкс. Только посмей!

Ну она покраснела, прямо как кузов пожарной машины, даже смешно стало.

– Откуда вы знаете, что меня еще и Эмма звать?

– Да уж знаю, – говорю. – Я на Литл-Толле сто лет прожила, и тому, что я знаю, и тем, о ком знаю, счету нет. А ты только поменьше локтями размахивай возле мебели и хрустальных ваз миссис Пресвятой, особенно когда будешь пятиться, и можешь ни о чем не беспокоиться.

– Я буду осторожной, – сказала она.

Ну я отдала ей «керби», вышла в холл, приложила руки ко рту и как гаркну:

– Сьюзи, Шона! Я сейчас гостиную пылесосить буду!

Сьюзи-то, конечно, совсем рядом стоит, ну и, можете мне поверить, у нее вместо лица вопросительный знак сделался. А я только рукой на нее махнула: берись, мол, за дело, а на меня внимания не обращай. Ну она и послушалась.

А я на цыпочках к лестнице и встала на своем месте. Глупость, конечно, да только я такого азарта не чувствовала с того самого дня, как отец меня в первый раз на охоту взял – мне тогда двенадцать сравнялось. Ну то самое чувство: сердце колотится и глухо так отдается по всей груди и в шее. В гостиной у нее, кроме дорогого хрусталя, было много всяких старинных вещиц, но я даже и не подумала, как Сьюзи Пролкс крутится там и вертится среди них, что твой дервиш. Можете поверить?

Я заставила себя простоять на месте, сколько выдержала, – минуты с полторы, думается. И как припущу наверх! И когда влетела к ней в спальню, она вся уже красная, глаза зажмурены, кулаки стиснуты и знай свое: «Анхх! Анххххх! АНХХХХХ!» Глаза она сразу раскрыла, чуть хлопнула дверь. Жаль, у меня фотокамеры не было – просто умереть!

– Долорес, немедленно убирайся отсюда, – сипит она. – Я хочу вздремнуть, а ты каждые двадцать минут врываешься ко мне, точно бык к корове!

– Что ж, – говорю, – я уйду, только прежде этот поджопник под вас подложу. По запашку судя, вашему запору очень на пользу пошло, что вы всполошились.

Она хлопала меня по рукам и ругалась – когда ей взбрело, ругалась она – дай Боже, а чуть слово поперек скажут, тут ей и взбретет, да я-то внимания не обращала. Подсунула я под нее судно в один момент, ну и, как говорится, все наружу вышло без сучка без задоринки. А потом я посмотрела на нее, а она на меня, и обе мы промолчали – мы ведь друг друга ох как давно знали.

«Ну что, вонючая твоя задница, – говорила я глазами, – опять я с тобой поквиталась, и как это тебе нравится?»

А она своими отвечает: «Не очень, Долорес, но ничего: разочек поквиталась, а потом опять в дурах останешься».

Да только ничего тут у нее больше не получилось. Пакостила, конечно, но чтоб, как я вам рассказывала, говно на занавески попадало, это уж извините. И остался тот случай ее последним «ура!». Ну и дни, когда у нее в голове прояснялось, становились все реже и реже да и куда короче. Моей больной спине это было на пользу, а меня все равно грусть брала. Она была той еще стервой, да я-то к ней привыкла, если понимаете, о чем я.

Фрэнк, ты мне еще водички не нальешь?

Спасибо. От разговору в горле пересыхает. А если ты решишь, Энди, дать своей бутылочке свежим воздухом подышать, я никому не скажу.

Нет? Ну да от таких, как ты, другого и ждать нечего.

Ну вот... о чем бишь я?

Да знаю я. О том, какой она была. Ну а третья причина, почему она стервой была, самая из них плохая. Стервой она была, потому что была истосковавшейся старухой, которой оставалось только умереть в спальне на втором этаже на острове, далеко от всех мест и людей, которых она знала большую часть своей жизни. Это само по себе худо, а она еще и ума в ожидании лишалась... и что-то в ней понимало, что все остальное точно подмытый речной берег, который вот-вот сползет в воду.

Одинока она была, вот что, и вот этого я никак понять не могла – ну не понимала я, почему она всю свою жизнь швырнула на ветер и поселилась безвыездно на острове. До вчерашнего дня не понимала. А сверх того она напугана была, и вот это я очень даже хорошо понимала. И все равно была в ней страшная, жуткая такая сила, будто в умирающей королеве, которая держится за свою корону и в последние дни жизни. Словно бы сам Бог должен по одному пальцу ей отгибать.

Бывали у нее хорошие дни и плохие дни... Я уж вам говорила. А припадки ее, как я их называю, всегда случались между ними – когда она после нескольких дней ясности переходила к неделе-двум смутности и от недели-двух смутности назад к дням ясности. На переходе ее как бы нигде не было... и что-то в ней знало и это. Вот тогда-то и бывали у нее галлюцинации.

То есть если это вправду были галлюцинации. Теперь я уж не так в этом уверена, как прежде. Может, я вам расскажу, а может, и нет, посмотрю, как буду себя чувствовать, когда время подойдет.

Думается, не всегда они случались по воскресеньям днем или по ночам. Думается, эти мне особенно запомнились из-за тишины в доме, из-за того, как я пугалась, когда она начинала вопить. Словно тебя ледяной водой обдали из ведра в летнюю жару. И всякий раз, чуть она начнет вопить, у меня сердце прямо останавливалось; и всякий раз входила я в ее комнату и думала, что вот сейчас она умрет. А вот чего она пугалась, понять нельзя было. То есть я знала, чего она боится, и довольно-таки ясно понимала, чего она боится – но не почему.

– Провода! – кричала она иногда, когда я входила. Сама скорчится на постели, руки сожмет между грудями, дряблые губы раскрыты и дрожат, а сама савана белее, и слезы стекают по морщинам под глазами. – Провода, Долорес, не пускай провода! – И всегда в одно место тычет – в плинтус в дальнем углу.

Конечно, там ничего не было, да ей-то все равно чудилось. Она видела, как все эти провода вылезают из стены и шелестят по полу к ее кровати – то есть я так думаю. Ну а я бегом вниз на кухню, хватаю с полки ножик потяжелее и назад с ним наверх. Стану на колени в углу – или поближе к кровати, если по ней видно, что они уже далеко заползли, – и делаю вид, будто рублю их. А сама лезвие легонько опускаю, чтоб паркет не попортить, и так машу, пока она не успокоится.

А тогда подойду к ней и утру ей слезы своим передником или бумажной салфеткой – она всегда их запас под подушкой держала, потом поцелую раз-другой и скажу:

– Ну-ну, деточка, их больше нету. Я все эти скверные провода порубила. Вот сама погляди.

Она поглядит (хотя в то время, про которое я вам рассказываю, увидеть-то она ничего не могла), еще поплачет, а потом обнимет меня и скажет:

– Спасибо, Долорес, я уж думала, что на этот раз они до меня обязательно доберутся.

А иногда вдруг меня Брендой назовет – такая у Донованов экономка была в их балтийском доме.

А бывало, так и Кларисой меня зовет. Это ее сестра была, умерла в пятьдесят восьмом.

А случалось, я поднимаюсь к ней, а она с кровати почти сползла и кричит, что в подушке у нее змея. Или одеяло на голову натянет и орет, что в окна увеличительные стекла вставлены и солнце через них сейчас ее сожжет. Клянется даже, что у нее волосы уже трещат. Пусть хоть дождь льет или туман, хуже чем в башке у пьяницы, она знай свое твердит, что солнце спалит ее заживо. Так я все шторы спущу, обниму ее и держу так, пока она не успокоится. А иной раз дольше, потому как она и замолчит, а я чувствую, что ее дрожь бьет, точно щенка, которого скверные мальчишки замучили. Просит и просит, чтоб я ее кожу осмотрела, не вскочили ли пузыри от ожогов. Я ей повторяю, что никаких волдырей и в помине нет, ну иногда она и заснет себе. А иногда не засypает, а вроде как забывается и бормочет что-то, будто разговаривает с людьми, а их давно на свете нет. А иной раз начинает говорить по-французски – да не на островном парлеву, а на настоящем. Она и ее муж любили Париж и ездили туда, когда только могли, иногда с детьми, иногда одни. Когда она бывала подороже, она начинала рассказывать о нем – кафе, ночные клубы, галереи, парходики на Сене, – а мне нравилось слушать. Был у нее дар на слова, у Веры то есть, и когда она что описывала, так будто своими глазами все видишь.

Но самое страшное – ну то, чего она боялась больше всего, – были мусорные кролики, и только. Ну вы знаете, такие комочки пыли с мусором, которые накапливаются под кроватями, за дверьми и по углам. По виду они на репейники смахивают. Я понимала, что причиной они, даже когда она ничего не говорила, и почти всегда мне удавалось ее успокоить, но почему она так боялась горстки этих говняшек из пыли и чем они ей представлялись, этого я не знаю, хотя была у меня однажды мысль. Не смейтесь, только она мне во сне пришла.

Ну да, к счастью, мусорные кролики ей реже виделись, чем солнце за увеличительным стеклом и волдыри на коже или провода в углу. Но уж если до них дело доходило, я знала, трудно мне будет. Знаю: мусорные кролики хоть в самую глухую ночь, а я сплю, и дверь ко мне в комнату закрыта, но как она начнет орать... Когда ей другое втемяшивалось...

Что, детка?

А разве...

Да нет, ты свою машину ближе ко мне не придвигай, если нужно погромче, так я буду погромче. Вообще-то такой громкоголосой бабы, как я, поискать – Джо говаривал, что уши надо ватой затыкать, когда я дома. Но от этих ее мусорных кроликов меня жуть брала – вот потому я, видно, даже сейчас шептать начала. Хоть она умерла, они на меня жуть наводят. Иногда я ее отругивала: «Ну чего вы такие глупости, Вера, напридумываете?» Да только это не глупости были, для нее то есть, для Веры. Мне столько раз чудилось, как к ней конец придет – напугает себя до смерти погаными мусорными кроликами. Да, пожалуй что, оно так и вышло, если подумать.

А сказать-то я хотела, что она, когда ей другое что мерещилось – змея в подушке, солнце, провода, – она кричала. А от мусорных кроликов она вопила. Даже и без слов. Только вопли, такие протяжные, что тебе в сердце будто ледяных кубиков напихали.

Бегу туда, а она волосы на себе рвет или лицо ногтями корябает, ну ведьма ведьмой. Глаза выпучены, ну прямо два яйца всмятку, и обязательно в угол смотрят, не в тот, так в этот.

Иногда сумеет выговорить: «Мусорные кролики, Долорес! О Господи, мусорные кролики!» А то просто плачет и хрипит. Прижмет на секунду ладони к глазам, тут же снова их отнимет. Будто и смотреть у нее сил нет, а и не смотреть тоже. И опять ногтями лицо корябает. Ногти я ей подстригала короче некуда, и все равно она до крови себя царапала опять и опять. А я всякий раз диву давалась: как это сердце у нее выдерживает такой ужас – в ее-то годы и с ее толщиной.

Один раз она с кровати упала... и лежит себе, а одна нога под туловище подвернута. Я прямо насмерть перепугалась. Вбегаю, а она на полу – кулаками по паркету колотит, точно балованный ребенок, когда не по его делают, и орет так, что вот-вот крышу скинет. За все года, что я у нее проработала, тут я в первый раз позвонила среди ночи доктору Френо. Он

приехал из Джонспорта в моторке Колли Вайолетта. Вызвала-то я его, потому как думала, что она ногу сломала – так она изогнута была – и что шок ее доконает. Только нога цела оказалась, уж не знаю как, но Френо сказал, что это просто растяжение, а она на другой день проснулась с ясной головой и ничегошеньки не помнила. Я раза два ее про мусорных кроликов спрашивала, когда она более-менее разбиралась что к чему, а она смотрела на меня, будто я совсем спятила. Понятия не имела, о чем это я говорю.

Ну после двух-трех раз я разобралась, что делать. Чуть она завопит, я спрыгну с кровати и за дверь – ее-то дверь третья от моей, а между нами бельевая. А в коридоре с того раза, как она подняла визг из-за мусорных кроликов, я держала стоймя веник с совком на ручке. Так я влетала к ней в комнату, размахивая веником, ну прямо будто поезд хочу остановить, а сама тоже ору (иначе я бы и сама себя не услышала): «Сейчас я их, Вера! Сейчас я их!»

И давай подметать в том углу, куда она смотрит, а потом для верности и в остальных. Иногда она после этого успокаивалась, но чаще принималась вопить, что они у нее под кроватью. Ну я хлоп на четвереньки и делаю вид, будто и там мету. Один раз дуреха старая с перепугу чуть на меня с кровати не свалилась – сползла на самый край и все старалась под кровать заглянуть. Верно, расплющила бы меня, что твою муху. Вот смеху было бы!

Ну подмету я все места, которых она пугалась, покажу ей пустой совок и скажу:

– Видишь, деточка? Я всех этих колючих тварей вымела.

А она сперва поглядит на совок, а сама вся дрожит, а глаза слез полны, что на вид ну прямо камешки на дне, если сверху в ручей поглядеть, и шепчет:

– Ах, Долорес, они такие серые! Такие мерзкие! Пожалуйста, унеси их!

Я пойду поставлю веник с совком у моей двери, чтоб под рукой были, когда опять понадобятся, а потом вернусь и успокаиваю ее как могу. Да и себя тоже. А если вы думаете, что мне утешения не требовалось, так попробуйте проснуться среди ночи совсем одни в большущем старом доме, точно в склепе, а снаружи ветер воет, а сумасшедшая старуха вопит внутри. Сердце у меня стучало, как паровозные колеса, мне и вздохнуть-то трудно было... но не могла же я ей показать, что со мной деется, не то бы она ко мне доверие потеряла, а тогда что бы мы делали?

После припадков этих я ей волосы расчесывала – очень это быстро ее успокаивало. Сначала-то стонет, плачет, а иной раз протянет руки, обнимет меня, лицом к моему животу прижмется. Не забуду, какими горячими у нее щеки и лоб всегда бывали, как она мусорными кроликами забредит, а бывало насквозь мою рубашку слезами промочит. Бедная старуха! Да что мы все тут понимаем, каково это быть старой и от нечисти отбиваться, не зная, какой и почему.

Иной раз и полчаса щеткой по ее голове егозишь, и все без толку. Смотрит мимо меня в угол да вдруг как всхлипнет! А то машет рукой в темноту под кроватью, а потом отдергивает, будто кто-то там ее укусить норовит. Раза два даже мне казалось, будто там что-то шмыгает, и губу закусывала, чтоб не закричать. Видела-то я, конечно, тень от ее руки и знаю это, да только понимаете, до чего я с ней доходила, а? Даже я, хотя обычно меня не запугать и не переорать.

В те разы, когда ничего другого не оставалось, я залезала к ней под одеяло. Она руку под меня просунет, обнимет, а голову положит на то, что от моих груди оставалось, а я ее тоже обниму и держу, пока она не заснет. А тогда тихонько выберусь из кровати – медленно-медленно, чтоб ее не разбудить, и назад к себе в комнату. А бывали случаи, когда я и не уходила. Редко, но бывали – когда она меня посреди ночи разбудит своими завываниями, я и засну с ней.

Вот в такую-то ночь мне и приснилось про мусорных кроликов. Только во сне я была не я, я была она и лежала на этой больничной кровати такая жирная, что без чужой помощи и повернуться не могла, а между ног у меня все горит от воспаления, которое никогда не проходило, потому что у нее все там всегда сырым было от недержания. Коврик с «Добро пожаловать» для каждой заразы, каждого микроба, можно сказать, и всегда повернутый куда надо.

И вот, значит, смотрю я в угол и вижу вроде бы голову, слепленную из пыли и мусора. Глаза у нее заведены под лоб, рот открыт и полон длинных острых зубов из пыли. И тут начинает она к кровати приближаться, медленно так, а когда она опять повернулась лицом, глаза прямо на меня смотрят, и вижу я, что это Майкл Донован, Верин муж. Да только когда она второй оборот сделала, так гляжу – мой муж! Джо Сент-Джордж, и усмешечка такая подлая, а длинные пылевые зубы все щелкают. А когда она в третий раз перекатилась, лицо было мне вовсе неизвестное, да только она-то была живая. И голодная. И подбиралась ко мне, чтоб сожрать меня.

Я так дернулась, что проснулась и сама чуть с кровати не сверзилась. Уже рассвело, и солнечный свет на пол падал полосками. Вера еще спала. Руку мне всю облюнила, а у меня сил нету обтереть. Дрожу вся, мокрая-премокрая от пота, и никак не поверю, что взаправду проснулась и все в порядке – ну, знаете, как после кошмара бывает. И на секунду мне почудилось, что на полу у кровати лежит эта мусорная голова с большими пустыми глазами и длинными пылевыми зубами. Вот до чего я дошла! Ну тут она пропала – пол и углы чистые, как всегда. Только с той поры я все думала, а не она ли на меня этот сон наслала, и, может, я увидела чуточку того, что она видела, когда вопила. Может, подцепила я каплю ее страха да и сделала своей. Как, по-вашему, такое в жизни взаправду случается или только в грошовых газетенках, которые в бакалейной лавке продают? Этого я не знаю, зато знаю, что сон этот меня до смерти напугал.

Ну да ладно. Хватит того, что это третья причина, почему она стервой была – вопли ее по воскресеньям и посреди ночи. А все равно жалость брала. И вся ее стервозность, если копнуть, тоже на жалость била, хотя это не мешало мне иногда просто стискивать зубы, чтоб не свернуть ей голову, как катушку на шпенье, да и всякий на моем месте то же почувствовал, кроме разве что Святой Жанны, мать ее, Арки. Думается, когда Сьюзи с Шоной услышали, как я в тот день грозилась из окна ее выкинуть... или когда другие люди слышали, как я ее... или мы друг друга на все корки разделяем... ну так они наверняка воображали, что я, чуть она помрет, засучу юбку и отобью чечетку на ее могилке. И думается, они тебе вчера и сегодня кое-чего про меня наговорили – не все, так некоторые, а, Энди? Да ты не отвечай, не отвечай, за тебя уже твоя рожа ответила. Ну просто доска для объявлений. Да и знаю я, до чего люди сплетничать любят. Они про меня с Верой вдосталь насплетничались, а уж про меня и Джо так вовсе – немножко, пока он жив был, и куда больше после его смерти. В наших местах человек ничего интереснее сделать не может, чем помереть в одночасье! Ты разве не замечал?

Вот мы и добрались до Джо.

Этой вот части я особенно боялась, ну да врать-то что толку? Я уже вам сказала, что убила его, но самое тяжелое еще впереди: как... и почему... и когда пришлось это сделать.

Я сегодня про Джо много думала, Энди, – если правду сказать, так о нем куда больше, чем про Веру. Все старалась вспомнить, и чего я за него замуж пошла, это одно. И сначала – ну никак! Меня даже страх обуял, ну как Веру, когда ей змея в подушке чудилась. А потом поняла, в чем заковыка: я все про любовь думала, будто я одна из тех дурочек, которых Вера нанимала в июне, а потом еще в середине лета увольняла, потому как они ее правила не соблюдали. Я все про любовь думала, а любви-то было – кот наплакал даже тогда, в сорок пятом, когда мне восемнадцать стукнуло, а ему девятнадцать, и мир был новый, и все впереди.

Знаете, что мне единственное на память пришло, пока я сегодня отмораживала задницу на ступеньках и все про любовь вспоминала? Что лоб у него красивый был. Я сидела сбоку от него в классе, когда мы в средней школе учились – это во время второй мировой... И вот вспомнила, какой лоб у него был – гладенький, без единого прыщика. На щеках и на подбородке прыщики у него кое-где были, а по сторонам носа так и угри, но лоб у него был прямо кремовый. И помню, как мне хотелось его потрогать... ну просто мечтала потрогать, если уж всю правду сказать – проверить, такой ли уж он гладенький. А когда он пригласил меня на

школьный вечер, я сразу согласилась и погладила-таки его лоб – он был таким гладким, каким казался, а волосы были зачесаны от него такими красивыми волнами! И я в темноте гладила ему и лоб, и волосы, а оркестр в зале гостиницы «Сеймсет» играл «Лунный коктейль»... Вот что мне вспомнилось, когда я несколько часов просидела на чертовых шатких ступеньках и продрожала на ветру, так что видите, что-то ведь все-таки было... Конечно, и месяца не прошло, как я уже не только лоб, а еще много чего у него трогала, и вот тут-то я и допустила главную свою ошибку.

Но одно поймите правильно: я ведь не говорю, будто провела лучшие годы моей жизни с чертовым выпивохой только потому, что мне нравился его лоб, когда в классе на седьмом уроке свет на него падал косо. Нет уж. Я вам про то толкую, что вот вся любовь, какую я сумела сегодня вспомнить, и от этого горько мне. Сидела нынче на ступеньках у Восточного мыса, вспоминала давние времена... тяжело мне было. Я ведь в первый раз увидела, что, может, продала себя задешево и, может, потому, что думала, будто такой, как я, ничего, кроме самого дешевого, и не положено. Я знаю, я в первый раз посмела подумать, что заслуживала больше любви, чем Джо Сент-Джордж был способен потратить на кого-нибудь (кроме разве что самого себя). Может, вам не верится, что старая стерва вроде меня способна верить в любовь, но на деле-то я только в нее и верю.

Только все это само по себе и отношения к тому, почему я за него пошла, почти никакого не имеет. Так и запомните. У меня в животе шестинедельная девочка росла, когда я ему сказала, что да и что буду, пока смерть нас не разлучит. Тут уж на попятный не пойдешь, печально, но хоть смысл есть. А все остальные причины были дурацкие, а одному меня жизнь научила: причины дурацкие – и брак дурацкий.

Мне надоело с матерью свариться.

Мне надоело слушать, как отец меня поучает.

Все мои подруги повыходили и обзавелись своими домами – так я хотела стать взрослой, как они; надоело быть глупой девчонкой.

Он сказал, что хочет меня, и я ему поверила.

Он сказал, что любит меня, и этому я тоже поверила... А когда он сказал так и спросил, чувствую ли я к нему то же, как-то грубо было бы ответить «нет».

И еще я подумать боялась, что со мной будет, если я не соглашусь. Куда тогда деваться, что делать, кто присмотрит за моим маленьким, пока я буду работать... если найду работу.

В записанном виде, Нэнси, все это, конечно, по-дурацки выглядит, но самое дурацкое вот что: я знаю десяток баб, с кем я в школу девчонкой ходила, и замуж они повыскакивали по тем же причинам, и многие пока еще мужние жены, и чуть не все одной надеждой и живы – дотянуть, чтоб муженька похоронить, а потом вытрясти его пивную вонь из простынь.

К пятьдесят второму я и думать про его лоб забыла, а к пятьдесят шестому он и весь был мне ни к чему, и, думается, к тому времени, когда Кеннеди сменил Айку, я его уже ненавидела, но у меня и в мыслях не было его убивать. Я думала, что остаюсь с ним, потому что детям нужен отец – чем не причина? Обхохочешься! Только это чистая правда, хоть поклянусь. И еще в одном поклянусь: пошли мне Бог повторение, я б его снова убила, и пусть хоть адские муки и вечная погибель... а их, наверное, мне не миновать.

Думается, на Литл-Толле все, кроме приезжих, знают, что я его убила, и небось воображают, будто знают, за что – за то, как он распускал со мной руки. Но кончилось для него плохо не потому, что он распускал их со мной, и, попросту говоря, что бы там ни думали на острове в то время, последние три года нашего брака он до меня пальцем не касался. От этой глупости я его излечила не то в конце шестидесятого года, не то в начале шестьдесят первого.

До того времени он меня часто мутузил, да-да. Не стану отрицать. И я терпела – тоже не стану отрицать. В первый раз он меня ударил во вторую ночь нашего брака. Мы поехали на воскресенье в Бостон – это был наш медовый месяц – и остановились в «Паркер-Хаусе». И

почти носа из него не высывали. Мы же были просто парой деревенских мышек, понимаете? И боялись заблудиться. Джо сказал, что провалиться ему на этом месте, но он не потратит двадцать пять долларов, которые нам подарили мои на развлечения, только чтоб такси довезло нас до отеля, потому что мы с дороги сбились. Господи, ну и дурак же он был! Хотя и я была не умнее... но в одном Джо от меня отличался (и я только рада этому!). Вечная эта его подозрительность. Ему мерещилось, что все люди на земле только и думают, как бы его надуть, вот так. И когда он напивался, мне часто в голову приходило, что это он для того, чтоб спать, не держа один глаз открытым.

Ну да это к делу не относится. А рассказать я вам хотела, как вечером в субботу мы сошли в ресторан, хорошо поужинали и поднялись к себе в номер. Джо, пока он по коридору шел, здорово на правый борт кренило, вот как сейчас вижу. Он за ужином раздавил четыре-пять банок пива вдобавок к десятку, которые выхлебал за день. Ну чуть мы вошли в номер, он встал и уставился на меня, да так долго, что я спросила, не видит ли он зеленых чертенят.

– Нет, – говорит он. – Зато я видел, как в ресторане этот парень пялился тебе под платье, Долорес. Глаза у него прямо как на пружинах прыгали. А ты ведь знала, что он на тебя вытаращился, а?

Я чуть было не ответила, что сиди там в углу Гэри Купер с Ритой Хейуорт, я бы их не заметила, а потом передумала. Что зря время тратить? Спорить с Джо, когда он пил, никакого смысла не было. Я за него шла не зажмурившись, и не хочу перед вами прикидываться.

– Если какой-то парень пялился мне под платье, Джо, почему ты не подошел к нему и не попросил, чтоб он глаза закрыл? – спросила я. В шутку спросила – может, хотела отвлечь его, не помню уже, но он-то всерьез принял. Вот это я помню. Вообще-то Джо был не из тех, кто понимает шутки, просто скажу, что чувства юмора у него ни на грош не нашлось бы. Вот этого я не знала, когда с ним подзаконилась. Тогда-то мне казалось, что чувство юмора вроде носа или ушей – у одного одни, у другого другие, но есть оно у всех.

Тут он меня схватил, опрокинул к себе на колени и отшлепал своей туфлей.

– До конца твоей жизни, Долорес, чтоб никто, кроме меня, не знал, какого цвета на тебе белье, – сказал он. – Слышала? Чтоб никто, кроме меня!

Я-то сдуру подумала, что это вроде как любовная игра – что он притворяется, будто ревнует, чтоб мне польстить. Вот какая была глупенькая. Ревность это была настоящая, только к любви она никакого отношения не имела. Так вот собака поставит лапу на кость и зарычит, коли к ней подойти. Тогда-то я этого не понимала, ну и спустила ему. А позже спускала, потому как думала, что на то и замужество, чтоб муж жену иногда поколачивал, хоть это и не самая приятная его часть. Ну да унитазаы мыть тоже приятности мало, но почти все женщины с ними возились, чуть убирали подвенечное платье с фатой на чердак. Верно, Нэнси?

Мой собственный отец иногда маму поколачивал, и оттого-то мне небось и втемяшилось, будто так оно и следует – потерпеть надо, и все. Отца-то я очень любила, и они друг друга очень любили, но когда что не по его выходило, он был на руку скор.

Вот помню раз... Мне тогда девять было, а может, и восемь... Так, отец вернулся с сенокоса – они луг Джорджа Ричардса у Западного мыса выкашивали, – а у мамы ужин на столе не стоит. Уж не помню, почему она задержалась с ним, зато ясно так помню все, что случилось, когда он в дом вошел. Был он в тапках: сапоги и носки за порогом снял – в них колючек полно набилось, – а лицо и плечи у него докрасна обгорели. Волосы к вискам прилипли, и до того у него лоб потный был, что клочок сена налип на складки, которые поперек тянулись. Разгоряченный он был, усталый и весь на взводе.

Входит в кухню, а на столе только стеклянный кувшин с цветами. Оборачивается он к маме и говорит: «А ужин мой где, дура?» Она было открыла рот, но ничего сказать не успела: он прижал ладонь к ее лицу и отшвырнул в угол. Я в дверях стояла и все видела. А он вперед идет, прямо на меня – голову опустил, волосы на глаза свисают. Всякий раз, как я вижу –

мужчина вот так домой возвращается, усталый после тяжелого дня, с обеденным бидончиком в руке, мне сразу отец вспоминается. Ну, я испугалась и хотела в сторону отбежать: а вдруг он и меня в угол оттолкнет? Только ноги меня не слушались. Но он ничего такого не сделал, а ухватил меня своими теплыми мозолистыми руками, отставил и вышел вон. Сел на колоду, руки сложил на коленях и опустил голову, будто их рассматривает. Куры так и прыснули во все стороны, но потом вернулись и начали клевать у самых его ног. Я думала, он их пнет так, что пух полетит, а он их и не прогнал даже.

А я на маму оглянулась. Она так в углу и сидела. На лицо посудное полотенце накинула и плачет под ним, а руки на груди скрестила. Вот это я лучше всего запомнила, хоть и не знаю почему, – как руки у нее на груди были сложены. Подошла я к ней, обняла, а она почувствовала, как мои руки ее поперек живота обвили, и тоже меня обняла. А потом сняла полотенце с лица, утерла им глаза, а мне велела пойти спросить папу, чего он хочет – стакан холодного лимонада или пива.

«Только не забудь сказать ему, – говорит, – что пива только две бутылки осталось. Коли ему больше хочется, то пусть в лавку ходит или вовсе не начинает».

Я вышла во двор и сказала ему, а он ответил, что пива не хочет, а вот стакан лимонада будет в самую масть. Я побежала за лимонадом. А мама уже ужин собирала. Лицо у нее поопухло от слез, но она напевала, а ночью они трясли кровать, как почти каждую ночь. А про то, что было, ни словечка, и ничего больше. Тогда-то такие вещи назывались «домашним учением» и входили в обязанности мужчины, а я, если потом и вспоминала, так просто думала, что, наверное, маме это требовалось, не то бы отец ни за что такого не сделал бы.

Ну я и еще несколько раз видела, как он ее учил, но то запомнила особенно. И никогда не видела, чтоб он ее кулаком бил, вот как Джо меня иногда, но как-то он ее отхлестал по ногам полоской мокрой парусины, и боль, наверное, была страшная. На ногах красные пятна остались и только к вечеру сошли.

Теперь о домашнем учении больше не говорят, выражение это вовсе из употребления вышло – туда ему и дорога! Но я-то выросла в убеждении, что обязанность мужчины – возвращать женщину или ребенка на путь прямой и узкий, чуть они с него сойдут. Только, хоть я с такой мыслью выросла, не думайте, будто я это считала правильным – так легко я не попадаюсь. Я знала, что мужчина, когда женщину бьет, не об учении думает... и все-таки очень долго мирилась с тем, как Джо меня обрабатывал. Думается, слишком уж я уставала дом вести, убираться у летних приезжих, детей растить и скандалы Джо с соседями улаживать, чтоб еще на это силы тратить.

Быть женой Джо... а, в задницу! Да и что такое семейная жизнь? Думается, у всех по-разному, но только нет такого брака, чтоб он изнутри был, каким со стороны кажется, уж поверьте мне. То, что люди со стороны видят, и то, что на самом деле есть, это обычно не ближе дальних родственничков. Иной раз жуть берет, иной раз смешно, а чаще, как и все остальное в жизни, и жутко, и смешно.

Люди вон думают: Джо был алкоголиком и бил меня, а может, и детей, когда напивался. Они думают, что один раз переложил, и я его на тот свет спровадила. Да, правда, что Джо пил и иногда отправлялся в Джонспорт на собрания анонимных алкоголиков, только алкоголиком он был не больше меня. Каждый четыре-пять месяцев пускался он в загул, чаще с дрянью вроде Рика Тибодо или Стиви Брукса – вот они-то настоящие алкоголики были, – а потом к спиртному и не прикасался, если не считать глотка-другого, когда он вечером домой возвращался. Глоток-другой, и все – когда у него бутылка была, он любил ее на подольше растянуть. Настоящие алкаши, каких я знавала, заполучив бутылку, тут же ее вылакивали, что бы в ней ни было – «Джим Бим», «Олд Дьюк» или там антифриз, через вату процеженный. Настоящая пьянь только об одном думает: прикончить бутылку в руке и стащить ее с неба, если выйдет. Нет, алкоголиком он не был, только его устраивало, чтоб люди так думали – будто он им побывал.

Это ему помогало работу найти. Особенно летом. Отношение к анонимным алкоголикам за эти годы переменялось, – я знаю, теперь про это куда больше говорят, – но одно прежним осталось. То, как люди стараются помочь тому, кто наплетет, что он сам себе помогает, в поте лица старается. Джо целый год в рот капли не брал – на людях то есть, и в Джонспорте в его честь вечер устроили – преподнесли ему торт и медаль, вот как! Ну и когда он приходил наниматься к летним приезжим, то сразу же говорил, что он – исправившийся алкоголик. «Если не возьмете меня из-за этого, – говорил он, – я на вас в обиде не буду, а не признаться не могу. Я больше года хожу на собрание общества «Анонимные алкоголики», а там нас учат, что без честности не бывает трезвости».

И тут вытаскивает свою золотую медальку за год трезвости, предъявляет ее им, а у самого вид такой, будто у него во рту и масло не тает. Думается, некоторые чуть слезу не пускали, пока Джо расписывал, как он каждый день с собой борется, и не сдаётся, и в Боге опору ищет всякий раз, чуть его на спиртное потянет... а его послушать, так случалось это каждые четверть часа. Обычно они прямо за него ухватывались и, может, платили на пятьдесят центов, а то и на доллар в час больше, чем собирались. Казалось бы, после Дня Труда на приманку эту попадаться будет некому, но на нее даже здесь на острове клевали люди, которые его каждый день видели и могли бы разобраться что к чему.

А правда та, что Джо, когда бил меня, почти всегда был трезвее трезвого. Нализавшись, он вообще меня не замечал, ни так ни эдак. Затем не то в шестидесятом, не то в шестьдесят первом заявляется он домой как-то вечером – помогал Чарли Диспензери лодку на берег вывлочить. Нагнулся он к холодильнику банку «коки» вытащить, а я гляжу – брюки у него на заднице лопнули. Ну я и засмеялась. Не смогла удержаться. Он ничего не сказал, а когда я подошла к плите посмотреть, как там капуста варится на ужин – помню, точно вчера это было! – он выхватил из корзины кленовое полешко и съездил меня по низу спины. Ну боль была! Если вас когда-нибудь по почкам били, тогда поймете, какая! Они сразу такие маленькие делаются, горячие и тяжелые, точно вот-вот сорвутся с того, на чем там подвешены, и ухнут вниз, точно свинцовая дробь в ведро с водой.

Доковыляла я до стола и присела на стул. Будь до стула еще шаг, я бы на пол рухнула. Сижу и жду, чтоб боль поутихла. Не вскрикнула даже, чтоб детей не напугать, только слезы у меня градом катятся. Ну не могу их унять, и все. Это были слезы боли, а их не удержишь, ни ради чего, ни ради кого.

– Не смей надо мной смеяться, стерва! – говорит Джо. Бросил полешко назад в корзину и уселся читать «Америкен». – Пора бы тебе за десять лет зарубить это себе на носу.

Со стула я только через двадцать минут встать сумела. Пришлось Селену позвать, чтоб она кастрюлю с плиты сняла, хоть до плиты-то и пяти шагов не было.

– Мамочка, – спрашивает, – а почему ты сама не можешь? А то мы с Джои мультики смотрим.

– Отдыхаю, – отвечаю ей.

– Во-во! – отзывается Джо из-за газеты. – Она столько языком намолочила, что дух перевести не может! – И захохотал.

Этот смех все и решил. Я тут же поклялась себе, что он больше до меня не дотронется или дорого заплатит.

Пужинали мы как обычно; а потом, как обычно, телевизор посмотрели – я и старшие с дивана, а Малыш Пит на коленях у отца в большом кресле. Пит, как обычно, прямо перед телевизором и заснул в половине восьмого, и Джо унес его в кровать. Час спустя я отослала спать Джо Младшего, а Селена ушла в девять. Я обычно ложилась в десять, а Джо до полуночи просиживал – смотрел программу, дремал, газету дочитывал и ковырял в носу. Так что видишь, Фрэнк, тебе особо стыдиться нечего: некоторые эту привычку и взрослыми сохраняют.

Но в тот вечер я в свой час спать не пошла, а осталась сидеть с Джо. Спина у меня полегчала. И можно было сделать то, что я задумала. Может, я и трусила, но теперь не помню. Я все ждала, чтоб он задремал. И дождалась.

Тогда я встала, прошла на кухню и взяла со стола сливочник. Я его не специально выбрала, он на столе остался только потому, что очередь убираться была Джо Младшего, ну, и он забыл поставить сливочник в холодильник. Джо Младший всегда чего-нибудь да забывал: убрать сливочник, накрыть масленку крышкой, обернуть хлеб так, чтобы верхний кусок к утру не зачерствел, – и теперь, когда я смотрю в телевизионных новостях, как он речь произносит или интервью дает, обязательно про это вспоминаю... и все думаю, что бы сказали демократы, если бы узнали, что лидер большинства в сенате штата Мэн в одиннадцать лет не умел толком убрать все с кухонного стола. Все равно я им горжусь, так и запомните. Я им горжусь, хоть он и распроклятый демократ!

Ну и на этот раз он забыл убрать именно то, что мне требовалось. Маленький, но тяжелый и как раз мне по руке. Я подошла к дровам и взяла топорик, который у нас лежал на полке над ними. Потому вернулась в гостиную, где он дрыхнул. Сливочник я зажимала в правой руке, размахнулась и ударила его по скуле. Сливочник разлетелся вдребезги.

Ну он, конечно, сразу встрепенулся, Энди. И слышал бы ты его! Заорал? Бог Отец и сыночек Иисус! Ревел, как бык, которому висюльку ворота защемили. Глаза вытаращил, руку к уху прижимает, а между пальцами уже кровь течет. Щека вся в белых брызгах и это мочало, которое он бачками величал, тоже.

– Знаешь что, Джо, – говорю. – Усталость-то мою как рукой сняло.

Тут слышу, Селена с постели соскочила, но оглянуться боюсь. Как раз влипну – он, когда хотел, был как змея быстрый. Топорик я держала в левой руке, опустив так, что он почти был фартуком закрыт. И когда Джо хотел встать с кресла, я топорик приподняла и ему показала.

– Не хочешь, чтоб он у тебя в голове застрял, Джо, так лучше сядь, – говорю.

На секунду мне померещилось, что он решил встать. Тут бы ему и конец пришел, я ведь не шутила. И он это понял – так и застыл с задницей над сиденьем дюймов эдак в пяти.

– Мама? – кричит Селена из двери своей комнаты.

– Ложись, ложись, детка, – говорю, а сама глаз с Джо не свожу. – У нас тут с твоим отцом небольшой разговор.

– Ничего не случилось?

– Да нет, – говорю. – Верно, Джо?

– Угу, – говорит. – Все хорошо.

Я услышала, как она пару шагов назад сделала, только дверь-то ее не сразу стукнула – секунд, может, через десять или через пятнадцать. И я знала, что девочка стоит там и смотрит на нас. Джо так и замер – одной рукой на ручку кресла опирается, а задница висит над сиденьем. Тут слышим – ее дверь закрылась, и Джо, верно, сообразил, какой у него вид дурацкий, и не сел и не встал, вторая рука к уху прижата, а по щеке капли сливок ползут.

Тут он сел и руку от уха отнял. А она вся в крови и ухо тоже – но только рука не распухла, а ухо уже успело.

– Сука! Ну ты получишь! – говорит он.

– Получу? – отвечаю. – Только ты одно запомни, Джо Сент-Джордж: все, что получу, я тебе вдвойне верну.

А он ухмыляется, точно не верит тому, что слышит.

– Ну так, значит, мне тебя убить придется, а?

Он еще договорить не успел, а я ему топорик протягиваю. Даже и не собиралась. Но чуть увидела топорик у него в руке, сразу поняла – ничего другого сделать я не могла.

– Давай, – говорю. – Только прямо с первого, чтоб мне не мучиться.

Он на меня посмотрел, потом на топорик, а потом опять на меня. Вытаращился – просто смешно, не будь дело таким серьезным.

– А кончишь, так подогрей кастрюльку да и поужинай еще раз, – говорю ему. – Ешь до отвала, потому как попадешь в тюрьму, а я что-то не слышала, чтоб в тюрьме домашним кормили. Думается, для начала отправят тебя в Белфаст. Уж наверняка найдется у них оранжевый костюмчик как раз по тебе.

– Заткнись, дырка, – говорит он.

Как же, жди!

– А после, – говорю, – скорее всего ты угодишь в Шошенк, и я твердо знаю, там еду горячее не подают. И по пятницам тебя не будут отпускать, чтоб ты вечер за покером провел с твоими пивнушными друзьями. А я только одного прошу – чтоб побыстрее и чтоб дети твоей работы не увидели, когда кончишь.

И тут я закрыла глаза. Я была почти уверена, что он этого не сделает, да только от «почти» мало радости, когда дело идет о твоей жизни. Вот что я в тот вечер узнала. Стою с закрытыми глазами, вижу одну черноту и гадаю, каково это будет, когда топорик разрубит мне нос, и губы, и подбородок. Еще помню, я подумала, что перед смертью успею почувствовать вкус щепочек на лезвии. И обрадовалась, что наточила его всего за два-три дня до этого. Уж если он меня убьет, то хоть не тупым топором.

Лет десять я так простояла. А потом он сказал – сварливо эдак и сердито:

– Так ты будешь ложиться или останешься торчать тут, точно Хелен Келлер, которой парень снится?

Открываю глаза и вижу: он топорик под кресло положил – из-под края чехла кончик рукоятки торчал. А газета ему на ноги упала, точно карточный домик. Он нагнулся, поднял ее и встряхнул, будто ничего не случилось – ну совсем ничего, да только по щеке у него текла кровь из уха, а руки чуть-чуть вздрагивали, так что газета шуршала. На первой и последней страницах остались красные отпечатки его пальцев, и я решила сжечь чертову газетенку, прежде чем он ляжет, чтоб дети ее не увидели и не поняли, что что-то было неладно.

– Я лягу, только прежде нам, Джо, нужно до конца разобраться.

Тут он посмотрел на меня и пробурчал сквозь зубы:

– Ты не очень-то, Долорес. Не то как бы тебе не ошибиться. Лучше не доводи меня.

– А я и не довожу, – говорю. – Только больше ты меня и пальцем не тронешь, вот и все. А попробуешь, так кто-то из нас угодит в больницу. Или в морг.

Он на меня долго смотрел, очень долго. А я на него, Энди. Топорик под креслом лежал, только не в нем дело было. Просто я знала – опущу глаза прежде него, и уж тогда тычкам в шею и охаживаниям по спине конца не будет. Ну под конец он глаза на газету опустил и буркнул:

– Ну чего стоишь без толку. Принесла бы мне полотенце, а то я кровью всю чертову рубашку залил.

И больше он меня никогда не бил. Внутри-то он трус был, понимаете? Хотя этого я ему вслух не сказала – ни тогда, ни потом. Ведь опаснее ничего быть не может, думается мне. Потому как трус больше всего на свете боится, что его раскусят, – даже больше смерти.

Конечно, я знала про его трусость. Да разве бы я рискнула ударить его сливочником, если б не думала, что верх почти наверное останется за мной. И еще. Пока я сидела на стуле и ждала, чтоб мои почки поуспокоились, то поняла: если стерплю на этот раз, то так и буду терпеть до конца своих дней. Ну и сделала то, что сделала.

А знаете, стукнуть Джо сливочником было просто. Но только прежде я должна была раз и навсегда перечеркнуть воспоминания о том, как мой отец отшвырнул маму в угол, как он хлестал ее по ногам мокрой парусиной. Подавить память об этом было трудно, потому как я очень любила их обоих, но я все-таки сумела... может, просто мне ничего другого не оставалось. И я рада, что сумела, – хотя бы из-за того, что Селене не придется вспоминать, как ее

мать сидела в углу и плакала, укрывшись посудным полотенцем. Мама со всем смирялась, но я их обоих не сужу. Может, она только и могла, что смиряться, и, может, он иначе не мог, чтоб не стать посмешищем мужчин, с которыми каждый день работал. Тогда времена были другие – мало кто понимает, насколько другие, но из этого не следовало, что я должна смиряться с побоями Джо только потому, что по дурусти вышла за него. И какое же это домашнее учение, если мужчина колотит женщину кулаками или поленом? Вот я и решила, что не смирюсь с таким, будь то хоть Джо Сент-Джордж, хоть кто другой.

Случалось, что он руку заносил на меня, но передумывал. Иногда, когда он поднимал руку, хотел ударить, да не смел, я по его глазам видела, что он вспоминает сливочник... а может, и топорик. И тут же делал вид, будто хотел в затылке почесать или лоб утереть. Это был первый урок, который он хорошо запомнил сразу. Да только, выходит, единственный.

И еще одно принес тот вечер, когда он стукнул меня полешком, а я стукнула его сливочником. Говорить-то об этом мне не хочется – я же из тех людей старых правил, которые считают, что нечего из спальни сор выносить. Да что же делать? Возможно, это тоже часть причины, почему все обернулось, как обернулось.

Хотя мы были женаты и еще два года прожили под одной крышей – а может, и почти три, не помню уже, – но он своим правом мужа после этого только пару раз пытался воспользоваться. Он...

Что, Энди?

Да, конечно, я хочу сказать, что он был импотент! О чем бы еще я могла говорить? О его праве носить мое нижнее белье, взбреди это ему в голову? Я ему не отказывала, просто у него ничего не получалось. Он был не из еженощных мужчин, так сказать, – даже в самом начале, и не из тех, кто растягивает, а чаще всего – бим, бам, спасибо мадам. Но все ж таки на пару раз в неделю у него интереса хватало... то есть пока я его не саданула сливочником.

Отчасти, может, повинно и спиртное – он в последние эти годы пил куда крепче, но не думаю, что только из-за этого. Помню, как-то ночью он сполз с меня после двадцати минут пустого пыхтения и кряхтения, а его штучка все так же болталась, точно макаронина. Не скажу, сколько времени прошло с того вечера, про который я вам рассказала, но точно знаю, что уже после него, потому как почки у меня ныли и дергались, и я еще думала, что скоро придется мне встать и проглотить таблетки, чтоб их утихомирить.

– Ну вот, – говорит он, чуть не плача. – Ну как, Долорес, ты довольна, а? Довольна?

А я молчу. Бывает, что бы женщина мужчине ни ответила, все будет против шерсти.

– Ну как? – говорит он. – Так ты довольна, Долорес?

А я все молчу, лежу, гляжу в потолок, слушаю ветер снаружи. Восточный он был и нес шум океана. Я этот звук всегда любила. Он меня успокаивает.

Он повернулся на бок и дыхнул мне в лицо кислым пивным перегаром.

– Прежде помогало свет погасить, – бормочет он, – а теперь уже нет. Я твою безобразную рожу и в темноте вижу. – Протянул руку, ухватил меня за сиську и вроде как потряс. – А это что? – говорит. – Дряблая и плоская, точно оладья. А уж дырка твоя и того хуже. Черт, тебе же еще и тридцати пяти нет, а трахать тебя, как раскисшую глину.

Я уж думала ответить: «В раскисшую-то глину, Джо, ты бы его и мягкий воткнул, и вот бы тебе полегчало!» – но промолчала. Патриция Клейборн дур и дураков не растила, еще раз повторю.

Тут он замолчал, и я было решила, что он столько гадостей наговорил, что сам себя убоял, и хотела уже встать за таблетками, но тут он опять заговорил... и уж на этот раз точно плакал.

– Чтоб мне тебя никогда не встречать, Долорес, – сказал он. А потом сказал: – И чего ты просто не отхватишь его чертовым твоим топором? А, Долорес? Ведь на поверку то же самое вышло бы.

Так что видите, не только я думала, что к его затруднениям может и сливочник отношение иметь... и мои слова, что с этого вечера в доме все по-другому пойдет. Ну я все равно молчу, но жду, заснет он или попробует опять кулаками поработать. Ну да он голый лежал, и я уже знала, куда ударю, чуть он попытается. Потом слышу – захрапел. Точно не скажу, что это был последний раз, когда он пытался быть со мной мужчиной, ну да если не последний, так почти.

Конечно, никто из его приятелей про это ничего не знал – уж конечно, он бы и словечком не заикнулся, что жена так его стукнула сливочником, что его хореk больше головы поднять не смел, верно? Он-то? Да никогда! А потому, когда другие расписывали, как они своих жен в узде держат, он от них не отставал и расписывал, как он мне выдал, чтоб я язык не распускала, или что я новое платье в Джонспорте купила, не спросив его позволения взять деньги из сахарницы.

Откуда я знаю? Да потому что бывает, я не столько говорю, сколько слушаю. Понимаю, не так просто этому поверить, пока я тут целую речь держу, и все-таки это чистая правда.

Вот помню, когда я у Маршаллов работала... Энди, помнишь Джона Маршалла? Как он всегда хвастал, что построит мост с острова на материк? Так, значит, вдруг звонок в дверь. А я в доме одна. Ну побежала я открывать, поскользнулась на коврикe и ударилась об угол камина. И на руке повыше локтя такой синячище разлился!

Ну дня через три, когда синяк из темно-коричневого стал желтовато-зеленым, я в поселке встретила Иветту Андерсен. Она из бакалеи выходила, а я как раз туда свернула. Поглядела она на мой синяк, и голос у нее, когда она заговорила, ну просто медовым стал от сочувствия.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.